Издается
с 2003 года

**Зарегистрирован
Министерством
Российской Федерации
по делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
ПИ № 77-17964
от 8 апреля 2004 г.**

# Русский путь

## на рубеже веков

*Литературно-художественный,
общественно-политический
и научно-популярный журнал*

Учредитель и издатель:
общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Губернские вести»

№ 3 (5)/2004

**Тираж бумажной версии 800 экземпляров.**

**В настоящее время журнал распространяется
на территории Ярославской, Костромской, и
Ивановской областей.
Адрес редакции: 150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, 28, 1-й этаж.
Телефоны редакции:
(0852) 72-74-52 (гл. редактор), 25-99-60
(отдел подготовки рукописей, после 18.00).**

**Редакция не вступает в переписку
с читателями, не рецензирует
и не возвращает присланные рукописи.
При перепечатке ссылка
на «Русский путь на рубеже веков»
обязательна**.

**Главный редактор**

**Евгений ЧЕКАНОВ,
член Союза писателей России**

**Редакционная
коллегия:**

**Николай СМИРНОВ,**

**член Союза российских писателей;**

**Тамара ПИРОГОВА,**

**член Союза писателей России;**

**Любовь НОВИКОВА,**

**член Союза российских писателей;**

**Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО,**

**кандидат исторических наук.**

© ООО «Редакция газеты
«Губернские вести», 2005.

Ярославль

**ПРОЗА**

# Альфред Симонов

# *Светлое прошлое*

## Из записной книжки полковника контрразведки

После первого полета человека в космос часто можно было услышать: «Гагарин летал в космос – и бога там не увидел». На многих людей этот довод действовал. Часто цитировали и слова другого космонавта, впервые увидевшего Землю из космоса: «Какая же она маленькая...»

Мне думается, наши парни увидели оттуда, с борта корабля, главное доказательство существования Бога – нашу Землю.

Наша Земля... Маленький, уютный, голубоглазый островок жизни в мрачном холоде Вселенной... Уже точно известно, что на многие десятки световых лет вокруг нет ничего подобного этому островку. Нам повезло. Среди вечного, безмерного, ледяного, идеально организованного, мертвого пространства для нас одних созданы самые благоприятные условия для жизни.

И мы живем...

* * *

В блестящей от весенней грязи канаве играет с солнцем прозрачный, светлый, чистый ручей. На дне его, среди ярких камушков, ослепительно белеет маленький осколок от белого фарфорового чайника. Я не могу оторвать взгляда от него, я испытываю какую-то неизъяснимую радость...

Это – первое детское впечатление от бесконечной красоты открывшегося взгляду мира.

---

**Альфред Николаевич Симонов родился в 1947 году в г. Рыбинске. Окончил историко-филологический факультет Ярославского педагогического института им. К.Ушинского. С 1970 года - на службе в органах КГБ СССР, а затем ФСБ России. В начале 90-х гг. прошлого столетия работал на выборной должности председателя Совета народных депутатов Кировского района Ярославля, а затем заместителем главы администрации этого района. Участвовал в выборах в Государственную Думу Российской Федерации первого созыва в качестве кандидата в депутаты. Работал первым заместителем начальника областного управления налоговой полиции. В настоящее время - директор службы безопасности одного из акционерных обществ, одновременно руководит общественной приемной полномочного представителя Президента Российской Федерации в Ярославской области.**

**Печататься начал в студенческие годы. Стихи и публицистика А.Симонова публиковались в областных газетах и коллективных сборниках. В 2004 году опубликовал в нашем журнале свое первое произведение в прозе «Светлое прошлое».**

**Живет в Ярославле.**

© Альфред Симонов, 2004.

* * *

Двухэтажный деревянный дом, потемневшие, в глубоких трещинах бревна... Мой отец, пришедший с войны на костылях и носящий глубоко в своем теле сто граммов качественного крупповского металла, самовольно занял комнату в этом доме. Просто – вошел и свалил на пол все свидетельства своей бедности: старую табуретку, узел с изношенной одеждой. Как ни суровы были сталинские времена, фронтового разведчика никто не посмел осудить.

Здесь, в этом доме, я и родился.

Едва научившись писать печатными буквами свое имя, я тут же, повинуясь какому-то безотчетному чувству, выжег его с помощью увеличительного стекла на одном из этих сухих, потрескавшихся бревен. Как сейчас, вижу легкую струйку дыма, ослепительную пляшущую точку на светлом дереве, черные расползающиеся буквы; ноздри щекочет запах горящей древесины... Я возвращался туда лет через десять, буквы были еще видны. Потом, правда, они исчезли, как исчез и сам дом.

Странное ощущение испытываешь, обнаруживая, что место, где ты появился на свет, более не существует. Земля освободила это место для других?

* * *

...Сижу на перилах крыльца и воображаю себя всадником, несущимся куда-то на лихом коне, куда-то в счастье. Ощущение абсолютной реальности этой воображаемой скачки...

* * *

Перед первомайской демонстрацией мой друг из соседнего дома, Генка, зовет меня к себе домой, отведать лимонада. На столе стоит небольшое блюдо с красной икрой, я ее вижу впервые. Генка дает мне ложку и мы, зачерпывая по очереди красные прозрачные горошины, начинаем обжираться этим (по тем временам, довольно обычным) продуктом.

Тогда икра мне не понравилась: соленая больно...

* * *

Возчик, разозлившись, бьет лошадь по доброй морде. Она только отворачивается. Мальчишкам жалко лошадь и они кидают в возчика камнями. Тот бросает лошадь и гонится за ними. Не догнал...

* * *

Бабушка приводит меня в церковь. Мне года четыре, не больше, и впечатление от первого посещения Божьего храма – ошеломляющее. Лики святых смотрят с огромных икон так сурово, как будто я в чем-то сильно провинился, но наказания еще не понес, оно впереди.

Лет через тридцать я вновь вошел в эту церковь. Теперь иконы не показались мне такими уж большими. Святые же смотрели с них, скорее, задумчиво, как бы спрашивая: «Что же из тебя получилось?»

* * *

Перед нашим домом – маленький палисадник, рядом зеленеет толстая старая береза. Однажды летом я обнаружил рядом с ней целых три подберезовика – на крепких светлых

ножках, с уютными коричневыми шапочками. Торжественно отнес их бабушке – и она тут же сварила из них суп...

Когда на душе скребут кошки, мне почему-то часто вспоминается именно эта нечаянная радость.

* * *

Небольшую речушку в округе все почему-то называли ручьем. Мы купались в ее прохладной, ласково журчащей воде, женщины полоскали там белье, рыбаки ловили рыбешку, – но все равно: ручей да ручей.

Почему? Наверное, потому, что в километре текла великая Волга. Рядом с ней все кажется маленьким.

* * *

Парус на реке был похож на белую бабочку, сложившую крылья.

* * *

Наш поселок, застроенный двухэтажными деревянными домами, находился в черте города, но поселковый народ, говоря «иду в город», всегда имел в виду только центральную часть, до которой было топать и топать. Откуда такая привычка? Думаю, она идет из очень давних времен, ведь на Руси городом называли, прежде всего, крепость, центр, куда слобожане и крестьяне из окрестных деревень сбегались при угрозе нападения. Даже сейчас я часто ловлю себя на том, что говорю «пошел в город», хотя выхожу всего лишь на улицу, а город, собственно, у меня за окном.

За поселком город кончался, начиналось поле. Во времена моего детства там росли полевые цветы и, почему-то, земляника. Сейчас, – я там был недавно, – сплошной корявый асфальт, выбоины... Словно морщины на лбу усталого, пожившего человека.

* * *

Бабушка сшила лоскутный коврик. Впервые увидев его, я поразился сочетанию нарядности и убогости одновременно. Сочетание несочетаемого: роскошные лохмотья. И, одновременно, самая наглядная модель пестрого мира.

* * *

На чердаке нашего дома, где причудливой горой высились старые венские стулья, я нашел полный комплект для игры в крикет – тяжелые деревянные шары, деревянные молотки с длинными ручками, на которых можно было еще рассмотреть надписи на иностранном языке. Спросил бабушку, каковы правила игры; она не знала, или забыла. Пришлось изобрести собственные – и в тот же день все мои поселковые приятели с азартом гоняли по траве деревянные шары. Этакие босоногие джентльмены...

* * *

В кино мы проходили без билетов: забирались на сцену и сидели за экраном. Так, «наоборот», я смотрел «Тарзана» раз пятнадцать. Обратная сторона искусства.

* * *

На чердаке старого дома нашел подшивку журналов «Нива». А еще там была «Газета-копейка» конца девятнадцатого и начала двадцатого века. Я с удивлением рассматривал фотографии царской семьи, изображения крестных ходов, каких-то бородатых «товарищей министра». У меня было ощущение, что на том же пространстве, где я живу, была когда-то совсем другая страна...

А шутки из юмористической «Газеты-копейки» я часто потом встречал на страницах журнала «Крокодил».

* * *

В обмен на хороший самодельный самокат получил старинную серебряную медаль «За усердие». Долго разглядывал ее. Поразило меня то, что и в царские времена людей награждали за труд. Как-то это не очень вязалось с официальной точкой зрения...

* * *

У берега Волги всегда было множество гонок, то есть пакетов бревен, которые сплавляли по реке. На гонках шла своя жизнь – там выпивали компании взрослых, ребята ловили рыбу. Многие забавлялись тем, что ныряли под гонки на спор. Бывало, и не выныривали...

* * *

По утрам, перед работой, к нам часто заходил сосед снизу, дядя Коля – и приносил на продажу свежих лещей, которых он поймал ночью. Мы знали, что об этом надо помалкивать, – как знали и то, что место, где Шексна впадает в Волгу, уже с вечера сплошь усеяно лодками, оснащенными «пауками», то есть запрещенными рыбнадзором сетками. Рыбы ловилось много, но в свободной продаже ее не было, вся расходилась по знакомым и родственникам. Худо-бедно, а все же приварок...

У дяди Коли была огромная, по нынешним понятиям, семья, то есть стимул к труду у него имелся. Он вкалывал на судостроительном заводе, а помимо того, промышлял еще и постройкой особых волжских лодок: они имели плавные, какие-то мягкие очертания, немного напоминающие скорлупки грецкого ореха, если их слегка вытянуть. На постройку лодки у дяди Коли уходило недели две – и все это действо, то бишь, волшебное превращение обычных досок в пахнущую свежей смолой ладью, происходило на моих глазах. Раскупали лодки сразу же, причем по хорошей цене (почти месячная зарплата заводского рабочего).

Когда я в очередной раз читаю, что русские ленивы и не умеют качественно работать, я всегда вспоминаю эти лодки, необыкновенно прочные и устойчивые.

* * *

Напротив нашего дома был лагерь военнопленных немцев: каждое утро огромную серую колонну вели на работу в окружении автоматчиков. Мне немцев не было жалко, но и ненависти к ним я не ощущал. Было, помню, чуть-чуть жутковато смотреть на эту колонну...

Со временем режим у пленных стал посвободней, их даже отпускали подработать на ремонте квартир. Делали они все на совесть, были, помню, приветливы и общительны. Вот парадокс истории: на бытовом уровне мы вполне можем уживаться с немцами, а две самые кровопролитные войны – с ними. Неужели схлестнемся еще?

* * *

Отгремевшая война то и дело напоминала о себе. Однажды отец привез откуда-то несколько отличных мешков под картошку; они были аккуратно сложены и упакованы. Когда мы на огороде их развернули, увидели на каждом – по всей длине мешка – фашистского орла со свастикой. Я тряхнул мешок и из него выпала монетка в пять пфеннигов, с той же фашистской символикой. Странно это выглядело посреди поля, до которого война не дошла.

Потом знакомый мальчишка показал мне фашистскую награду – настоящий железный гитлеровский крест. По фильмам о войне я знал о ней, но вот увидеть пришлось впервые. Крест показался мне каким-то невзрачным – наши награды, яркие, нарядные, выглядели куда лучше.

На пустыре я нашел немецкую каску. Прямо посредине нее была дыра величиной с кулак, с ржавыми острыми краями. Меня поразило то, что каска была очень тяжелая и прочная – от удара молотком она только звенела. Правда, тому, кто ее носил, явно не повезло.

А не ходи на Русь!

* * *

Во время прогулки по Волге баржа, на которой уместилась добрая половина нашего пионерского лагеря, причалила около полуразрушенной церкви. Мы выскочили на берег и оказались рядом с заброшенным кладбищем, на которое наступал лес. Воображая себя Чингачгуками, бродили по нему, вглядывались в маленькие металлические иконки, лежавшие на каждом из могильных холмиков. Холмики эти были буквально усеяны спелыми, очень крупными ягодами земляники. Пожалуй, именно тогда я впервые подумал, что эти ягоды очень похожи на капли крови...

Попритихшие, мы ушли оттуда. Никто даже не попытался сорвать ягодку.

* * *

Два главных впечатления от радио в детстве: «Я на горку шла» в исполнении Руслановой и «под руководством партии Ленина-Сталина», – это уже хорошо поставленным, «государственным» голосом Левитана. Как-то я даже спросил у родителей: «А она шла на горку под руководством партии Ленина-Сталина?»

Получил шлепок по заднице.

* * *

Две женщины разговаривают о Сталине: женат он, или нет? Одна – невзрачная, в бедном полинялом платье – говорит: «За Сталина любая бы пошла, даже я».

Это любовь простых людей.

* * *

Похороны Сталина были не только в Москве. В нашем городе оглушительно выли сирены, хрипели гудки паровозов, люди на улицах плакали. Так, наверное, полагалось. Но многие плакали искренне.

Мне тоже было грустно. Ушло что-то огромное и важное, от чего зависела и моя жизнь.

* * *

В середине пятидесятых в стране объявили большую амнистию – и вскоре по нашему городу поползли страшные слухи о нападениях, грабежах, убийствах. Вечерами улицы пустели; я помню ощущение постоянного чувства опасности.

В поселке у многих отцы отсидели; тюремные нравы господствовали и в отношениях между детьми, во дворе. Чтобы чувствовать себя защищенным, нужно было обязательно примыкать к какой-то группе...

* * *

Война давно закончилась, но во дворах она была в полном разгаре – в виде мальчишеских игр. Мы играли в войну и вооружались при этом до зубов: у каждого из нас дома был целый деревянный арсенал... автоматы, пулеметы, пистолеты. Все это было искусно вырезано из досок – и дворовые оравы целыми днями гонялись друг за другом, отчаянно споря, кто кого «подстрелил». Доходило и до мордобоя.

Помню, как я, выстругав из дубовой доски превосходную саблю, вышел сразиться с парнем, что был на несколько лет старше меня. Мы скрестили клинки – и от моей замечательной сабли тут же отлетела сначала треть, а затем и половина. Оказывается,

короткий кинжал в руках у парня был совсем не деревянным, а настоящим. А я-то уже лелеял мысль о победе...

К сожалению, подлость всегда вооружена настоящим оружием, деревянная сабля тут не поможет. Сейчас, когда террористы захватывают в заложники целые школы с детьми, мне это особенно ясно.

Против кинжалов нужен меч!

* * *

Столько лет прошло, а до сих пор помню это...Маленький дикий зверек с черной блестящей шерстью, размером чуть меньше кошки, вскочил на ствол березы и стал медленно карабкаться вверх, подбираясь к двум нашим скворечникам, где уже поселились птенцы. Намерения зверька были очевидны и я уже собрался шугнуть его, но внезапно из-за куста сирени вылетела стая воробьев, этак не меньше сотни. Стая начала облетать зверька, закладывая, как по команде, стремительные виражи и чирикая при этом так громко, что закладывало уши. Но хищник упрямо лез вверх. Тогда воробьи изменили тактику и стали задевать его во время облета. Не выдержав атаки, зверек спрыгнул вниз и убежал – а воробьи мгновенно успокоились и опять спрятались в ветвях сирени.

На другой день я нашел зверька в погребе, мертвым, глаза у него были выклеваны.

Почему воробьи вступились за скворцов? Ведь им, воробьям, зверек совсем не угрожал...Птичья солидарность?

* * *

Ежедневный поход в магазин за хлебом. Хлеб – черный; белые булки появились только в пятьдесят шестом, после освоения целины. До этого я его не видел. А черному хлебу отдаю предпочтение до сих пор.

* * *

Хмурый, холодный день, идет нескончаемый дождь, я возвращаюсь из магазина с кульком, полным баранок. Они выпечены из какой-то темной муки, но все равно необыкновенно вкусные, мягкие и теплые. Чтобы спастись от дождя, который стал уже проливным, забегаю под навес, с трех сторон закрытый досками... ба! здесь уже стоят мои приятели – брат с сестрой из соседнего двора. С аппетитом уминаем баранки, «травим» какие-то бесконечные забавные истории, хохочем. От того, что мы симпатичны друг другу, от запаха и вкуса баранок, от ощущения, что дождь нас не может достать, возникает необыкновенное впечатление уюта, тепла...но вот баранки съедены, дождь кончился, друзья прощаются со мной. Я плетусь домой грустный, так как не знаю, что сказать родителям по поводу отсутствия продукта. По своему обыкновению, смотрю в землю и... о, чудо! вижу на дороге комок из смятых, мокрых бумажек. Деньги! Разворачиваю: целых одиннадцать рублей! Бегу в магазин, вновь отстаиваю очередь – и несу домой новый кулек баранок.

Кто-то там, наверху, меня пожалел.

* * *

Сижу сейчас за столом, мараю бумагу, а с лестничной клетки несет запахом жареной рыбы. Запах бедности... И сразу вспомнилось, что наша бабушка по воскресеньям пекла длинные ржаные пироги с треской либо зеленым луком, другой начинки не признавала.

Горячие ржаные пироги... где их попробуешь в наше время?

* * *

Юрка пригласил меня к себе домой, на воскресный обед. У нас дома обеды были одинаковы, что в будни, что в праздник, ни особых названий, ни церемоний не было. А тут... Сидим в зале, Юркина бабушка, «смолянка», приглашает в столовую. На столе, покрытом парадной скатертью, множество старинных тарелок, посредине – большая супница. Я обратил внимание, что все, садящиеся за стол (исключая, конечно, меня), нарядно одеты; отчим Юрки – в безукоризненно белой рубашке, в отличном галстуке.

Парень я был простой, и от обилия ложек и вилок на столе не очень-то смутился. Но некоторую неловкость все же испытывал. Первое съели молча, за вторым завязалась легкая беседа о живописи, затем подали невиданный мною доселе десерт, клубнику со сливками. Завершил все отличный кофе, сваренный по особому рецепту. А после обеда нас сфотографировали на память и отправили в кино. В этот день я впервые понял, что и в нашем рабочем поселке можно жить иначе, не как все.

Фото с того обеда у меня хранится до сих пор: будущий поэт-диссидент Юрий Кублановский и будущий полковник контрразведки Альфред Симонов. Ирония судьбы.

* * *

Вместе с родителями (было мне тогда лет четырнадцать) был в гостях у своего дяди. Там, зная мое увлечение рисованием, мне дали бумагу, карандаши и краски. Я взял с этажерки первую попавшуюся книжку, «Рассказы о Ленине», и решил перерисовать вождя. Почти закончил работу, когда подвыпивший дядя подошел ко мне, желая, видимо, оценить мое творчество. Увидел рисунок и побледнел.

Взяв у меня листок, он молча, аккуратно его разорвал. А мне сказал: «Никогда не делай больше этого».

Тогда я понял только, что вождя я нарисовал плохо, и что дяде не понравилось. Лишь впоследствии до меня дошло, что у этого поколения страх сидел не то что в поджилках, а где-то еще глубже. А ведь было уже время оттепели, бояться было уже нечего. Вроде бы...

* * *

Перед поступлением в вуз я лихорадочно набивал свою голову знаниями... прямо, как наволочку сеном. И все же обучение в заочной школе рабочей молодежи давало о себе знать – на экзамене по истории СССР я перепутал съезд партии со съездом Советов. Наверное, перевирал и даты. Правда, говорил уверенно, без запинки, хорошим русским языком, без слов-паразитов.

Экзаменатор смотрел на меня, как папа Карло на полено: в печку его бросить – или попытаться выстругать что-то дельное?

Поставив мне «отлично», он решил мою судьбу.

* * *

Студенческий ансамбль, где я бренчал на гитаре и подпевал солисту, разучил и исполнил на одном из вечеров песню из пустенького, но безумно красивого югославского фильма «Любовь и мода». Из-за этой забойной песенки «Девойка мала» (маленькая девчонка) мы посмотрели фильм раз десять. А потом в горком партии поступила жалоба: дескать, в учебном заведении исполняются песни югославских ревизионистов. Какой-то педагог настрочил...

Но времена уже были другие. Морозы отступили, в разгаре была оттепель. И нам все сошло с рук.

* * *

Осенью, как обычно, нас отправили в колхоз, «на картошку». Правда, картошку мы как раз не копали: председатель доверил нам куда более интеллигентную работу – теребить лен. Ни перчаток, ни рукавиц не было, поэтому ладони наши уже через пару дней стали грубыми и шершавыми, как кирзовые сапоги.

Бригадир поручил мне и Юрке загнать теленка в кузов машины. Мы взяли в руки хворостины, но бить скотину не могли, было жалко. А теленок и не боялся наших прутиков. Бегал он от нас весело, как собачонка.

Бригадир (он себя называл товарищем Мутовкиным), понаблюдав за этой беготней, сказал снисходительно:

– У вас, ребятишки, палки нерентабельные.

Неодобрительно высказавшись о матери теленка, он размахнулся – и мгновенно загнал бедную животину в машину. Этакий Александр Македонский, расправившийся с «гордиевым узлом». Только вместо меча в руках у нашего победоносного воителя был крепкий березовый кол.

* * *

В пошехонской деревне мы купили у старушки древнее платье с традиционной для этих мест вышивкой – красное по зеленому. В избе обратили внимание на какое-то приспособление из кованого железа, вбитое в стену.

– Что это?

– Светец.

– А для чего он?

– Лучину в него втыкаю и сижу вечером.

– Но ведь электричество есть!

– Бывает, и отключают. Тогда вот лучину зажигаю.

– А пожара не боитесь?

– Нет, не боюсь. Я под лучину тазик с водой ставлю.

Мы смотрели на этот светец, как на диво дивное. Словно перенеслись лет на двести назад.

Переночевав у старушки, спросили утром, где можно купить хлеба.

– А эвон пекарня, за оврагом.

Пришли в пекарню. Запах свежего черного хлеба ни с чем не сравнить, он один такой. Купили два огромных горячих каравая, да тут же их и смолотили.

Хотели купить еще, да нам не продали – этак своим, деревенским не хватит.

* * *

На летние каникулы я задержался в общежитии: работал над статьей для газеты. Но вечером нагрянул наш комсомольский босс со своей проблемой: группу латиноамериканских студентов, приехавших в наш вуз, было нечем занять. Босс воззвал к моей сознательности – и я его выручил. Как? Да очень просто: собрал своих приятелей, мы скинулись и купили пять бутылок «Рошу де десерт», полкило кильки пряного посола и много черного хлеба. Латинос, славные парни, старшекурсники, от спиртного не отказались, но изрядно изумились контрасту выпивки и закуски. Однако мы их заверили, что вот уже три года, считая с первого курса, употребляем эти продукты именно в указанном сочетании – и ничего дурного с нами до сих пор не случилось.

А потом латинос вошли во вкус. Вскоре черненький эквадорец уже мчался в магазин за дополнительным запасом. И вообще все было здорово, если не считать того, что мексиканец чуть не подрался с перуанцем по поводу политики. Еле мы их уняли.

Где-то они сейчас, эти латинос? Кем стали? Что пьют? Чем закусывают?

* * *

Помню, выступал перед нами, студентами, профессор ленинградского театрального института, специалист по быту девятнадцатого века. Лекцию свою он начал с того, что объяснил, как правильно пить подогретое немецкое вино. Слушали мы с интересом, хотя были более привычны к молдавскому портвейну из горла, на морозе. Потом профессор долго рассказывал, как отличить хороший коньяк от плохого и каким образом распознается коньячный букет. И это тоже было интересно (да и в жизни пригодилось).

А последней темой лекции были...физиологические основы любви. Ну, тут уж, понятно, все мы уставили глаза и навострили уши. Говорил специалист по быту больше часа и закончил свое выступление ударной фразой:

– Итак, вы поняли, что сердце здесь ни причем!

Я сам теперь в его тогдашнем возрасте, но о любви до сих пор так не думаю. Наверное, все дело в том, что он был специалистом именно по быту... И только по быту!

* * *

Семинар молодых литераторов. Аудитория разношерстная: от членов Союза писателей до таких, как я – написавших пять-шесть стихотворений и вообразивших о себе невесть что. После семинара нас пригласил на беседу первый секретарь обкома партии. Все шло своим чередом, но потом начались вопросы. Партийный босс обмолвился, что в городе скоро установят высеченный из гранита памятник Карлу Марксу. И тут встает наш ярославский писатель Михаил Рапов и хорошо поставленным голосом профессионального педагога спрашивает:

– Простите, а Маркса уже высекли?

Все в зале замерли.

– Высекли, высекли, – без тени улыбки произнес партийный лидер.

Я, помню, тогда еще подумал: вот это самообладание!

* * *

Перед экзаменом по педагогике мой приятель сильно волновался. Главное, о чем он сокрушался, был его несолидный вид. И тогда я предложил ему изменить свой облик, то есть надеть очки.

– В очках человек выглядит лет на десять умнее! – убеждал я.

Он ухватился за эту идею и побежал искать очки. И нашел... только без стекол. Надел их и пошел сдавать экзамен.

На его счастье, вопросы ему попались легкие. Без запинки отбарабанив ответы, он с радостью увидел, как рука экзаменатора выводит в его зачетке оценку «отлично». И тут, как на грех, у него страшно зачесалось веко. Забывшись, он почесал его пальцем, не снимая оправы – и с ужасом увидел, что на лицах педагогов проступает явственное смятение.

– Извините, одно стекло выпало... – промямлил он.

Все-таки отпустили его с миром.

* * *

Друг мой, талантливый поэт Саня Гаврилов, учился в те времена в Литературном институте. И вот однажды на зачете по поэзии советского периода ему достался билет с вопросом о творчестве Есенина. Лекций Санька не записывал, что отвечать, совершенно не знал. Но у него был с собой старый учебник по литературе, этак тридцать четвертого или тридцать пятого года издания. Добросовестно прочитав то, что там было написано о Есенине (а написано там было, что Есенин – реакционный, кулацкий поэт), Саша пересказал все это экзаменатору.

Педагог, известный поэт-песенник, поморщился.

– Вы высказали точку зрения на творчество поэта, бытовавшую в тридцатые годы... А сами-то вы какой точки зрения придерживаетесь?

– Официальной, – кратко ответил Санька.

Больше его ни о чем не спрашивали. Что поделаешь, если такой ортодокс попался...

* * *

При всей ироничности нашего народа, при вечном его стремлении превратить в полупохабную частушку самый серьезный лозунг, нельзя сказать, что этим лозунгам совсем уж не верили. Верили. Помню разговор двух работяг: они шли вместе с нами за грибами и на полном серьезе рассуждали, какой рабочий день будет при коммунизме и как это будет здорово – получать по потребности все, что необходимо.

* * *

Именно в те времена и произошла она, эта беседа. Я к ней ну совершенно не был готов. Какое там ЧеКа!.. я историком хотел быть, ученым. Ну, на худой конец, журналистом.

Но человек, беседовавший со мной, сделал совершенно верный ход.

– Ты как к тридцать седьмому году относишься, к репрессиям? – спросил он меня.

– Отрицательно, конечно.

– Ну, вот...если хочешь, чтобы такое больше не повторялось, иди к нам.

И я пошел...

* * *

Отпуск, отпуск... модель жизни длиной в один неполный месяц. Радостные хлопоты, приготовления, восторг первых двух-трех дней. В середине – успокоенность и умиротворение: еще много осталось... А что в конце? Знаю по прежним отпускам: в конце – грустное подсчитывание оставшихся дней. Три дня. Два дня. Один день... Все!

А мне в последние дни моего отпуска как-то непривычно легко пишется. И думается.

И вспоминается.

* * *

Когда настоящее тает, как пригоршня снега в теплых ладонях, когда будущее не имеет ясных очертаний и больше походит на сон, чем-то тревожащий тебя, остается только светлое прошлое. Оно уже случилось и ничто не сможет его переменить – ни в лучшую, ни в худшую сторону. В нем, в прошлом, мы и ищем все: и утешение, и точку опоры, и объяснение тому, что происходит.

Хотя занятие это, – искать объяснения, – пустое. Прошлое ничего объяснить не может. Никому еще не удалось извлечь из прошлого ту пользу, о которой мечталось. Скорее, прошлое может запутать.

Не потому ли жизнь любого русского человека и состоит, как правило, из путаницы и хаоса, являющихся естественной средой обитания его души?

Правда, тогда непонятно, откуда же берутся и наши победы в великих войнах, и прорывы в науке. Как, в этом случае, нам удалось докарабкаться до космоса?

Может быть, нам стоит вглядываться только в наши победы? А вдруг они и есть те самые «сухие камушки», по которым мы постоянно, ежечасно переходим опасные, как бурливая река, места нашей истории?

* * *

Вновь наткнулся в книге на фамилию «Смирнов». И задумался. Ведь это – одна из самых распространенных крестьянских фамилий. По-видимому, она произошла от слова «смирный». Смирный мужик – ну, и фамилию ему давали «Смирнов». Но ведь мы – совсем не тихий народ. Стоит только глянуть на нашу историю – сплошные бунты, войны, восстания, междуусобицы, перевороты! Взять хоть минувший двадцатый век, самый что ни на есть просвещенный: с Японией воевали дважды, с Германией – дважды. А еще с финнами. А еще участвовали в конфликтах в Корее, Вьетнаме, Камбодже, Афганистане. Четыре революции пережили: 1905, февральскую, октябрьскую, вторую октябрьскую (1993). Гражданскую войну пережили. Теперь вот с Чечней воюем... И это – всего за сто лет, по сути – за одну человеческую жизнь.

Фамилия «Смирнов» – филологический обман!

* * *

Упомянул финнов – и вспомнил, как в Финляндии зашли мы с ребятами в русский ресторан. Хозяин тоже был русский, правда, говорил он на родном языке какими-то слишком правильными, слишком литературно грамотными фразами. И еще употреблял много старинных слов, которых у нас в России уже нет в обиходе.

Принесли обед: щи, свежую картошку с укропом, селедку с луком...в общем, без стопки-другой водки было никак не обойтись. Но, как на грех, у хозяина отсутствовала лицензия на продажу спиртного. Мы, правда, к этому были готовы. Как говорится, у нас с собой было. Но в чужой стране – не дома...просто так взять и выставить на стол наш пузырек мы поопасились.

Я обратился к хозяину за разрешением.

Хозяин с минуту мучился, говорил о возможных неприятностях, но, в кон-це концов, русская душа одолела финскую законопослушность. Он принес стаканы, мы конспиративно разлили нашу бутылочку на пять персон, залпом выпили, закусили щами. Потом выпили еще, заели картошечкой с селедкой. Картошки было много, мы достали из сумки второй пузырек, потом третий... И тут наш хозяин не выдержал. Подошел к столу, сказал почему-то, что сегодня вечером ему надо ехать на балетный спектакль в Ленинград и... поставил на стол шестой стакан.

– Налейте уж и мне, товарищи! – сказал он с какой-то особенной теплотой в голосе.

Я наполнил его тару, он оглянулся на дверь, лихо опрокинул в себя стакан отменной русской водки, крякнул, заел картошечкой и с достоинством удалился.

Русский – он и на чужбине русский!

* * *

Наши, впрочем, когда им выпить хочется, иной раз и не такие спектакли закатывают...

Будучи в экспедиции, я заночевал в просторном сельском доме. Просыпаюсь утром в своей комнате и слышу разговор хозяина с хозяйкой. А надо сказать, что накануне мы с хозяином очень хорошо посидели. И вот он (тоже, видимо, лежа один в кровати), говорит через стенку осипшим голосом:

– Маша, дай рубль.

– Не дам. Опять нажрешься.

– Дай, говорю! А то я тебя...сварю.

– Не дам!

– Ну, смотри, Маша... Вот я уже встал, вот к плите подхожу.

Из-за стенки твердое:

– Не получишь.

– ...Вот уже и плиту разжег. Вот уже и воду в кастрюле поставил на огонь.

За стеной молчание.

– Вот уже и лавровый лист бросил в воду...

Из-за стены – ехидное:

– И перчик с солью не забудь положить!

Я не выдержал, встал и пошел в комнату к мужику, чтобы, по возможности, предотвратить каннибалистический инцидент. Но мужик как лежал в постели, так и лежал – и был в эту минуту похож на актера, озвучивавшего опостылевший текст заигранной пьесы.

Я плеснул ему из своей заветной фляжки сто граммов. И рубль, и жена остались целы.

* * *

Бреду по городской улице, весь в своих мыслях. Уже метров за сто слышу забойную музыку, что несется из окна первого этажа... мой любимый рок-н-ролл, запретная мелодия юности. Хорошо, поди-ка, сейчас молодым людям за этим окном, отплясывают себе... Все у них впереди и вообще жизнь прекрасна. А у меня вот скверное настроение и ничего-то не ладится.

Приближаюсь к окну, поравнялся с ним. За стеклом – лицо молоденькой девушки, как-то тупо смотрящей на улицу. Так разителен контраст между энергичной музыкой – и абсолютной скукой, угнездившейся на милом девичьем личике.

Музыка в пустом доме... Заголовок романа?

* * *

В журналистской компании зашел разговор на волнующую всех тему – о любви. Меня попросили высказаться – и я ответил словами, сказанными задолго до меня и совсем по другому поводу: «Я знаю о ней только то, что ничего не знаю. Вот это я знаю точно». Отговорился, в общем, спрятался за цитату.

А если серьезно? Состояние любви – это счастливое попадание в параллельный мир, в тот мир, где все устроено самым наилучшим образом.

Только вот возвращение из этого мира в наш сродни возвращению с берегов теплого моря в холодную северную зиму...

* * *

Записная книжка Чехова. «На стуле лежал старый альбом с фотографиями, он был никому не нужен, а выбросить было неудобно». Цитирую, правда, по памяти, но смысл именно этот. И добавить к этому нечего. Вот матрица прожитой жизни большинства людей.

* * *

Киев. Вечером иду в оперный театр на «Риголетто»; основную арию поет кто-то из их звезд, то ли Гуляев, то ли Гнатюк. Поет хорошо, украинцы вообще голосистый народ. Но вдруг на сцену выходит обычная домашняя кошка. Ленивая такая, раскормленная. В зале оживление, все смотрят только на кошку. Певец нервничает, делает неловкий жест рукой, желая прогнать соперницу со сцены – и задевает фонарный столб. Столб – бутафорский, и тут же ломается пополам. Зал, однако, состоит из воспитанных людей и не хохочет во все горло, а лишь слегка подхихикивает.

Кое-как закончив арию, певец удаляется, а следом за ним – кошка. Что ж, свою роль в этом спектакле она исполнила на «отлично».

В антракте билетерша, как бы оправдываясь передо мной, говорит:

– Это интриги!

* * *

Возвращаюсь по Крещатику к себе в гостиницу... На проезжей части стоит женщина с загипсованной ногой, немолодая и некрасивая. На тротуар ей никак не подняться, нога не поднимается. На беспомощный взгляд никто не обращает внимания.

Подхожу к ней и говорю:

– Позвольте, я вам помогу.

Внимательно взглянув на меня, молча кивает головой. Слегка приподнимаю ее и ставлю на тротуар, потом, поддерживая, помогаю дойти до остановки троллейбуса. И поворачиваюсь, чтобы уйти.

– Рятуйте, люди добрые! – вдруг громко и жалобно кричит женщина за моей спиной. – Одна в Киеве добра людина – и тот москаль!

* * *

В ялтинском доме-музее Чехова пожилая женщина-экскурсовод в качестве бесплатного приложения к основной лекции поведала любопытную байку. Оказывается, во время съемок фильма «Дама с собачкой» режиссер разыскал старика, который в свои молодые годы, будучи извозчиком, много раз возил Чехова. Режиссер попросил старика рассказать о великом писателе. Подумав, бывший извозчик ответил:

– Скупой был. На чай ни разу не дал!

Для него Чехов был и остался простым пассажиром.

Для окружающих нас людей мы, чаще всего, просто прохожие. Кто бы мы ни были...

* * *

Тарханы, музей Лермонтова. На рояле в гостиной лежит белый батистовый платочек, принадлежавший матери поэта. Ощущение такое, что она вот-вот войдет и скажет:

– Извините, я забыла свой платок. Но не буду вам мешать, господа...

Я чувствовал себя, как человек, пришедший в дом без приглашения.

* * *

Рязань, село Константиново, родина Есенина. Избушка, где он жил с родителями, – маленькая, почти игрушечная. Дом, в котором жила девушка, прообраз Анны Снегиной – тоже очень небольшой. По понятиям «новых русских» – лачуга.

Но когда стоишь на высоком берегу реки, кажется, что отсюда видно пол-России.

* * *

Попал в общество политиков, известных всей стране. Фуршет. Все с удовольствием выпивают и закусывают. На блюде лежит огромный омар, переливаясь всеми оттенками красного и розового. Все на него поглядывают, но никто не решается тронуть. Может, просто не знают, как его полагается есть?

Так он и остался лежать на блюде – большой, нарядный, красиво украшенный зеленью.

А может, они уже объелись омарами?

* * *

Объединительный съезд «Единства» и «Отечества». Президент произнес очень короткую речь и ушел, объявили перерыв. Вокруг каждого сколько-нибудь известного политика – небольшие (или большие) группы людей: что-то спрашивают, выясняют, спорят. В партере третьего или четвертого ряда – одинокая фигура бывшего премьера. Никто не подходит, никому не интересен.

Или ему просто хотелось побыть одному?

* * *

«Я одинокий монах, идущий по миру с дырявым зонтиком». Это слова Мао-Цзе-Дуна, диктатора самой населенной страны мира.

Какое пронзительное чувство одиночества! Все на коленях – и никого рядом.

* * *

Северокорейский лидер Ким-Ир-Сен, обожествляемый у себя на родине, как-то сказал любопытную фразу. Ее (очевидно, по недосмотру) опубликовали в журнале «Корея», который в доперестроечные годы выделялся своей глянцевой обложкой на фоне серенькой продукции, заполнявшей киоски «Союзпечати». После парадного посещения птицефабрики лидер горестно сказал:

– Мне уже шестьдесят лет, а мой народ еще не ест в достатке куриного мяса...

Может быть, он таким образом извинился перед своим народом? И на Олимпе у богов иногда сдают нервы.

* * *

По телевизору вновь крутят фильм сорокового года «Свинарка и пастух». Даже сейчас его смотреть весело. Только вот концовка смотрится несколько зловеще: группа кавказцев на конях въезжает в русское село и увозит с собой русскую девушку...

* * *

Стою перед картой России, усеченной империи, скольжу взглядом с севера Европы на восток...и вновь думаю о том, что мы воевали, пусть и в разное время, чуть ли не со всеми соседями. Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Венгрия, Румыния, Турция, Персия, Афганистан, Япония...даже Монголия, если учитывать монголо-татарское нашествие. В историческом плане у всех этих государств есть, как говорят дипломаты, территориальные претензии к нам. Получается, что слабыми быть нам никак нельзя, даже если в русской душе и вправду есть «нечто бабье».

* * *

Хмурые русские города, с их унылыми пятиэтажками и деревянными окраинами. Их построили хмурые люди, месяцами не видящие солнца. Когда-то наших далеких предков вытеснили на эти северные территории более воинственные и лучше организованные племена. Так и получилось, что у нас много места (и полезных ископаемых), а у них много солнца.

Они к нам лезут за территориями, а мы к ним едем за солнцем. В конце концов, мы обречены либо на единую Европу, либо на вечные войны.

* * *

Хорошо одетый пожилой мужчина (судя по властному взгляду – бывший руководящий работник) тяжело опускается на скамейку рядом со мной. И то ли мне, то ли себе говорит:

– Раньше сердце болело либо за работу, либо от любви. Теперь болит просто так.

Помолчал, вздохнул и добавил:

– Зато раньше валидол не помогал, а теперь помогает.

* * *

Правильно говорят: какие песни слышишь в детстве, те и распеваешь всю жизнь. То же можно сказать и о книгах. Представитель «книжной цивилизации», я прочел массу литературы, но постоянно возвращаюсь только к четырем авторам: русскому Чехову, чеху Гашеку, еврею Ильфу (с Петровым, конечно) и поляку Тадеушу Квятковскому с его романом «Семь смертных грехов» (о странствующем монахе, брате Макарии).

Когда беседую с человеком, который может процитировать Чехова или ввернуть фразу из бессмертного «Швейка», сразу проникаюсь к нему симпатией. Жаль, что такие люди встречаются мне все реже и реже.

Эпоха «книжной цивилизации» заканчивается.

* * *

Историк по образованию, я терпеть не могу исторические романы. Полковник контрразведки, никогда не читаю детективы. Этакий синдром рыбака: любит ловить рыбу, но есть ее наотрез отказывается.

* * *

Две беды: дураки и дороги? Как знать...Мне думается, Антон Чехов точнее обозначил нашу главную беду, сказав: «Россия бедна государственными людьми». Наше будущее – в людях с государственным мышлением, и людей этих надо искать, растить и воспитывать. С той же истовостью, с какой тибетцы ищут своего далай-ламу.

Сами собой такие люди не появятся. А если и появятся, то будут похожи на плоды дикой яблони – красиво, да кисло.

* * *

Русские люди многое могут делать лучше других. Единственное, что нам никак не удается – это обустроить свою жизнь. Гнилые домушки на окраинах. Законы, которые никто не может понять. Инструкции, напоминающие нерасшифрованные тексты древних народов. Население, которое на глазах становится все малочисленнее и малограмотнее. Растущая кастовость общества...

Хочется вслед за Шукшиным воскликнуть:

– Что с нами происходит?

* * *

Сидим с батюшкой за столом, употребляем водочку под маринованные грибки. По старой русской традиции я рассказываю ему о своих невзгодах. Батюшка слушает внимательно (не забывая при этом о том, для чего мы собрались). Выслушав, говорит проникновенно:

– А ты не мучайся! Господь все устроит.

В тупиковых ситуациях, когда я никак не могу найти приемлемое решение, вспоминаю эту спасительную формулу.

И действительно – все как-то устраивается.

* * *

Над Плещеевым озером беснуется гроза. Оглушительный гром. Молнии, раскалывающие черное небо, на миг отражаются в черной воде. Эти огненные трещины наводят на мысль об Апокалипсисе...но внезапно тучи расходятся и образуют в небе небольшое голубое окошко.

Это окно надежды. Оно раскрылось над русской землей. Хорошо, если бы надолго.

**ПОЭЗИЯ**

# Ольга Коробкова

# *На плече моем - бубенец*

## НА МИРУ

Жизнь, как вино, играет и бродит,
Но не желает меня согреть.
Самым последним в комнату входит
Тот, на кого не надо смотреть.

Нимбом над ним – теневая слава,
Имя его – набатная медь.
Смотрит налево, смотрит направо
Тот, на кого не надо смотреть.

В комнате смех, качаются стены,
Взоры затягивают, как сеть.
В дальнем углу молчит вдохновенно
Тот, на кого не надо смотреть.

Я говорю – и мой голос покорен.
Я умею без дыма гореть.
Боже, зачем так нерукотворен
Тот, на кого не надо смотреть!

Солнце мое все выше и выше...
Хлопнула дверь – как щелкнула плеть.
Стало темно: из комнаты вышел
Тот, на кого не надо смотреть.

---

**Ольга Александровна Коробкова родилась в 1975 г. в Рыбинске. Окончила музыкальную школу, работала внештатным корреспондентом городского радио, заведующей лицейским музеем. Серьезно занимается музыкой, сочиняет и исполняет песни. В Рыбинске записан альбом ее музыкальных композиций «В мире лукавых обличий».**

**Стихи и прозу пишет с детства. Была постоянным автором рыбинского развлекательного журнала «0855», публиковалась в городской и областной периодике. Дипломантка Всероссийского совещания молодых писателей в Ярославле (1996 г.). В 1998 г. в Рыбинске вышла в свет первая книга ее стихотворений «Которая вечность». Затем в Рыбинске были опубликованы еще две книги О. Коробковой – «Насущные печали» и «После игры». В 2004 г. опубликовала в нашем журнале подборку стихотворений.**

**Член Союза российских писателей с 2000 г. Участница третьего Форума молодых писателей в Липках (2003 г.)**

**Живет в Рыбинске.**

© Ольга Коробкова, 2004.

* * *

Мне не надо последней рубахи с плеча твоего,
Слишком это опасное зрелище – ты без рубахи...
Закрываю глаза. Что со мною? Да так, ничего.
Впрочем, все ничего при твоем сумасшедшем размахе!

Темнота возле окон, но в маленькой кухне светло,
Ты похож на патриция после хорошей попойки.
Дым твоих сигарет между нами стоит, как стекло.
Так и надо, конечно. Мы тоже спокойны и стойки.

Это просто совпало – и город, и лето, и ты.
Значит, время прощаться... До встречи! – надеюсь, нескорой.
Вновь ночная дорога мои заметает следы,
Чтоб загладить вину, одиночество – имя которой...

## ГЕРОИ МОЕГО РОМАНА

...А на пятидесятой странице
Она пришла к нему в гости.
И ей разрешили то веселиться,
То пить, то плакать от злости.

И в сердце ее пылало пламя
Времен падения Трои...
Ну, что же, что же мне делать с вами,
Мои слепые герои?

Оставить ли вас в дыму фантазий,
Раз ночью все кошки серы?
Вы – пленники моих безобразий,
Моей надежды и веры.

...А на семидесятой странице
Он чуть не взял ее силой.
И – третий лишний, пятая спица! –
Я за ними следила.

От вас отвернутся родные стены
И критика вас осудит.
Зачем, зачем вы несовершенны
Как образы и как люди!..

Герои мои за моей спиною
Кивнут и прощально глянут.
Они о том, что будет со мною,
Не знают, а врать не станут.

* * *

Что я помню? Сиреневый плащ,
Одиноко по ветру летящий,
Тихий дождик – и собственный плач,
Точно кукольный, но настоящий.

Я, закрывшись промокшим плащом,
Шла по жесткой дороге вслепую, –
Грудью к прошлому, к ветру плечом
И щекой к твоему поцелую.

## ПАДЕНИЕ

Пробил полуночный час.
В обморок падает совесть...
Оборотни среди нас.
Разве для вас это новость?

Бродит в артериях кровь.
Нервы дрожат, как канат.
Падайте, крошка, в любовь-
Это падение в ад.

В страсти умерить жару
Ночь до скелета раздета.
Вы проиграли игру.
Вы понимаете это?

Не уходи, дорогая,
В форточку льется прохлада.
Время вечернего чая.
Время вечернего яда.

## ПИСЬМО

Ничего нет тверже нелюбви.
Вы когда-нибудь поймете это.
Почитайте книжечки Леви –
Взлеты и паденья псих-эстета.

Нелюбовь прочнее, чем алмаз –
Не горит в огне высокой прозы.
А стихи... пускай в последний раз
Высекут они, как искры, слезы!

Ничего. О’кей и шоу маст...
Продолженье – на прощальной ноте.
Бог не выдаст, женщина не даст.
Не берите! И тогда поймете.

* * *

Скрипка – зеркало души!
Заливайся. ворожи
Для зеленой госпожи.
Ты – ничейная красотка,
Сумасбродка, обормотка,
Ты – чертовкина золовка,
С лакировкой полукровка.
Пять линеек – этажи,
Где пассажи – виражи.

Пропадая, хохочи,
Раны – ладаном лечи.
Дыбом струны блеска ради,
Кольца на зеркальной глади...
Если так – тебе пора.
До свиданья – до костра!

## ТРАДИЦИИ

Так лисица заметает следы
Рыже-белым и пушистым хвостом.
Так бурливая поверхность воды
Равномерно покрывается льдом.

Так на лед бросают серую соль,
Чтоб никто не потерял статус-кво.
Так безумец прячет самую боль
От людей – и от себя самого.

* * *

Судьба волны известна берегам,
Которые встречают грудью стены
Слепой воды, и подбирают хлам,
И восстают из ядовитой пены.

А волны, как спина их ни крута, –
Их ждет земля и прямота закона:
Сиюминутна эта высота,
Недолговечна пенная корона.

В своей дороге волны не вольны,
И слышит ли хоть кто-то вздохи эти?
Единственная музыка волны,
Нет музыки печальнее на свете.

То помогает, то вредит луна,
И плачет над водой ночная птица.
Судьба волны, конечно, решена.
Взметнуться. Поклониться. И разбиться.

* * *

Когда я становлюсь сентиментальной,
Я вспоминаю то, что забывала,
Я вижу ту единственную зиму,
Мороз и солнце, дни твоих чудес.

Я не благодарю тебя за это –
Все это было вымечтано мною.
Но, глядя на тебя, я рисовала
Свои узоры на стекле души.

В те дни мы просто грелись друг о друга.
Твое тепло – как выдох на морозе...
И, как снегирь, в апреле улетела
На север наша зимняя любовь.

* * *

Я одна в деревенском доме.
Жизнь, как лето, на переломе.
Что стоять у судьбы на стреме –
Так и так все впотьмах.

Но на месте мне не сидится.
Плачет каждая половица:
«Ах, зачем же ты не синица
В чьих-то цепких руках!..»

## ОСЕННЯЯ ОТАВА

Вторая трава принимает глухие шаги,
Сама же не ждет от природы особых радуший.
Безвестная птица на небе рисует круги,
Но птичья душа на лету окольцована стужей.

Вторая трава принимает прямые дожди –
Знать, клумбы свои поливает небесный садовник.
Для серого севера время цветов позади,
В соседних садах – лишь вконец одичавший терновник.

Плодами с навязчивой мякотью полнится горсть,
Чтоб слаще гулялось среди перелесков и пашен.
Уже не хозяин ты здесь, но еще и не гость –
Твой свежий росток в городское тепло пересажен.

А здесь остаются колючие звезды, храня
Пустые дома, и в домах – паутинные тени.
Вторая трава принимает тебя и меня,
Когда перед этой землей мы встаем на колени.

* * *

От свежих яблок спасу нет,
Их тяжесть радует ладони.
И слышится покой и свет
В колоколах, в мажорном звоне.

Святится солнцем все, что есть.
И принимают огороды
В миру божественную весть –
Преображение природы.

## ДУША ДЕРЕВНИ

Душа деревни, солнечный ребенок,
В траве по пояс путается всласть.
То рядом – и почти по-птичьи звонок,
То сочиняет, где ему пропасть.

Душа деревни, бережная дева:
Веретено, колодец и ведро,
Льняная лента, патока припева,
Меж пальцев – петушиное перо.

Душа деревни, шумная матрона,
Смеется, колыхаясь на ходу,
И, по пути с коровьего прогона,
Старательно полощется в пруду.

Душа деревни, темная старуха,
Молчит, томится около окна,
Пусть будущее – холодно и глухо,
Ее-то дело – вовсе сторона...

Как ткань, плетется сказочная проза,
Как новость, слышен перезвон копыт.
Душа деревни – пышная береза,
Что, срубленная, весело горит.

* * *

Дом питается теплом,
Словно бабочка нектаром,
Солнца золотым дождем
И любовью – Божьим даром.

Дорогие имена...
Души предков сбились в стайку.
Дом хранит в себе меня,
Как последнюю хозяйку.

* * *

Дальнозоркое солнце плывет на закат
В пелене полусна, в мутной дымке покоя.
Этот город, конечно, не рай и не ад,
Но он одновременно и то, и другое.

Воспаленное небо бледнеет с утра,
Безыскусно закутано облачной ватой.
Этот город открыт для добра и для зла,
Этот город – уютный тупик без возврата.

Как смертельно черны нежилые дома...
Их незрячие окна гостей не встречают.
По пустынным проспектам проходит зима,
Удивляясь тому, что ее замечают.

Тополя в кружевах равнодушно хранят
Тишину и намеки на вечную память.
Дальнозоркое солнце плывет на закат.
Все обычно. Уже ничего не исправить.

## ДОРОЖНО-ВЕЧЕРНЕЕ

Величье закатной короны,
Поля и холмы в тишине...
Легки и лирически-сонны
Заботы о завтрашнем дне.

А их, слава Богу, немного –
День выйдет таким же прямым
И ровным, как эта дорога,
И светлым, как облачный дым.

На фоне молитвенной сини –
Зарницы нечаянных смут.
Для истинно пылкой гордыни
Дорога – единый приют.

* * *

Стерильны перелески и поля,
Простудный ветер дует вхолостую.
Пустеет Божья ближняя земля.
– Кого люблю, того и наказую.

Меняются местами в полумгле
Сухие листья, золотые годы...
Садится солнце, чтобы на земле
Принять глухую исповедь природы.

* * *

Я меняла личины и тени,
Облачения и языки.
Я скиталась по грани паденья
И платила чужие долги.

Канут годы... Я даром волыню,
Миновав королевский конвой.
Будет выстлана грубой полынью
Дорогая дорога домой.

Раньше ангел гнездился под кровлей...
Жаль, что нынче куда-то исчез.
Я вернулась с отравленной кровью –
Отставная хозяйка чудес.

Колдовские кристаллы разбиты,
Седина не щадит головы.
Злые мыши – подобие свиты,
Канарейка на месте совы.

Утоляю простые желанья
После жажды девятой волны.
Поливаю сухие герани,
Чьи цветы никому не нужны

И, заслышав рыдания меди,
Я покорно гляжу в синеву,
Чтоб не знали хотя бы соседи,
Как давно я на свете живу.

## РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ

О Господи, настало Рождество.
Мы, как вино, вкушаем хлопья снега.
И, как елей, на душу льется нега,
А больше нам не надо ничего.

Мы думаем о будущем... зачем?
Нам неизвестно, кто такой Иуда.
О Господи, благодарим за чудо,
Что наш Содом похож на Вифлеем.

За что нам сразу столько чистоты,
Что стало так легко на этом свете?
О Господи, мы все сегодня дети,
Как Ты.

* * *

*В средние века прокаженные ходили с колокольчиком, чтобы предупредить о своем приближении*

На плече моем – бубенец,
Говорящий, что я опасна.
Где начало, там и конец.
Тем, кто рядом, все это ясно.

Я одна не слышу себя
И бегу кому-то навстречу.
А бубенчик звенит, хрипя:
«Сторонись ее, человече!»

Если даже и тишь, и гладь –
Я смотрю вперед, я не трушу.
Ну, куда ж мне ее девать,
Прокаженную эту душу?

* * *

Щедроты левитановских полей,
Стога и травы над вечерней Истрой...
Вот так и лето промелькнет – быстрей
Береговушки маленькой и быстрой.

А там и осень... Бьют колокола,
Монастыри блистают куполами.
И носится по воздуху зола,
И гладь воды надежна под ногами.

## УГЛИЧ

За нами нужен глаз да глаз,
За нами, за людьми, –
Сказал мне старый богомаз,
Художник по любви.

Красна церквами эта глушь,
Здесь церкви на крови.
Ведь сколько натыкалось душ
На лезвие любви!

А в сердце – колокольный звон,
А щеки жжет роса.
Кругом, – и с фресок, и с икон, –
Глаза, глаза, глаза...

Как слепо надо было жить,
Чтоб в самый первый раз
С таким смятеньем ощутить
Присмотр небесных глаз.

## ПОРТРЕТ В ПЕЙЗАЖЕ

### 1

Трущобный котенок, подкрашенный хной.
Пятнисто линяет джинсовая шкурка.
Прищурив глаза, ты гуляешь сквозь строй –
И сыплется с мокрых ресниц штукатурка.

Что делать! Ты слышишь общественный лай,
Хотя улыбаешься жизненно-жадно.
Сегодня в пристанищах дружеских стай
Пожарная лестница явно парадна.

Задворочный климат, стихийности быта,
Наив – как прозрачная самозащита,
Экзотика малометражного дна,
Где ты одичаешь, оставшись одна.

### 2

Тебя приручил молодой бизнесмен,
И сливки стоят у тебя в изголовье.
И ты полюбила владычество стен,
Окрашенных, кажется, масляной кровью.

На лапках твоих – дорогой маникюр,
Ковры хороши... Так что, милая, тише.
На выставке разных домашних фигур
Нет тех, кто шатался с тобою по крыше.

Но ты же теперь из породы «нуво»,
Так что же твой голос так жалок и тонок?
Все было и будет... и нет ничего.
Один беспородный, пропащий котенок.

* * *

Живу вполголоса и вполслова,
Отстав от века на целый век.
Как страшно думать снова и снова,
Что я – несбывшийся человек.

Судьба кривится и путь двоится
И не отрывается от земли.
В руках моих умирает синица
И тают в облаках журавли...

## ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ

Конец двадцатого века. Огненный ореол.
Воздух дрожит над нами. Мы струимся, как дым.
Мы прозрачны и зыбки. Дребезжит рок-н-ролл.
Правда, уже не модно умирать молодым.

Но апокалиптичны песни, стихи и сны.
Словно собаке кость, бросили миру шанс...
Это великий хаос, хаос «новой волны».
Конец двадцатого века. Компьютерный декаданс.

* * *

Пророка не слышат ни Бог, ни народ,
Пророка – он слышит – пустыня зовет.
Все в мире спокойно, и людям востока
Не надо пока никакого пророка.

Он солнцепоклонник, он меч, а не флаг.
Две бездны – глаза его, волосы – мрак.
И так же, как капли анчарного сока,
Пылают лукавые губы пророка.

Взлетая и падая, духи пустынь
Вплетают в венок ему злую полынь.
Но молодость – лишь разновидность порока.
Особенно для молодого пророка.

И сердце пронзает искусной иглой
Его песнопений молитвенный вой.
И пятна на белой одежде пророка
Все сушит и сушит горячий сирокко.

* * *

Не все ли равно, какими
Мне улицами бродить,
Не все ли равно, чье имя
В подушку ночью твердить.

Не все ли равно...А впрочем,
Мне выбора не дано.
Ведь имя, – что днем, что ночью, –
Не найдено ни одно.

* * *

Боже, храни сумасшедших
Для сумасшедших страстей,
Для никуда не приведших
Исповедимых путей.

Сколько романных закатов,
Сколько сердец заводных,
Сколько твоих адресатов!
Веришь ли, Господи, в них?

Им, только им, – спозаранку
Перенастраивать строй,
Делать крещением пьянку
И сигарету – свечой.

Боже, они-то не боги!
Останови круговерть...
Их, только их на пороге
Встретит красавица смерть.

* * *

Профанация. Глум-культура.
Век безбашенный, двадцать первый.
Не привыкнешь – стало быть, дура.
А свихнешься – стало быть, нервы.

Поторгуй-ка девственной лирой,
Поделись-ка творческим жаром!
Мимикрируя, деградируй.
А не гнешься – ломайся даром...

**ПОЭЗИЯ**

# Леонид Советников

# *По нити светящейся*

* * *

Как горные пики – светила,
Глубины – что впадины гор...
Понтификам время претило,
И путают счет до сих пор.

По лестницам Пантикапея,
Теряя сандалии с ног,
Спускался навстречу толпе я –
Просыпать меж пальцев песок.

Белевшего Понта пергамент
О чем-то вещал... Я не вник.
В ладони покоился камень –
Напрасного знанья двойник.

* * *

Заячьим горошком, черным лютиком
Заросли могилки вдоль реки.
Алалыкой, одичалым хлюпиком
Там бродил я в детстве, и близки

Стали сердцу знаки запустения,
Тайны века, вросшего в покой:
Будто все ушли – одни растения
Своеручничают под рукой.

Луч касается, как тел покойников,
Синеватых шпатов полевых...
Помню: сердце бабочкою с донников
К ним слетит из царствия живых.

---

**Биография Л.Н. Советникова опубликована в № 1 за 2003 г.**

© Леонид Советников, 2004.

* * *

*«Мы, оглядываясь, видим лишь руины.»*

Когда и в будущем одна печаль руин,
О, как во сне шепчу я жизни имя!
И губы тянутся к трилистникам терцин,

Воркуют голуби, как на карнизах Рима.
На форум дня стремятся лепестки,
Воркуют голуби, и помогаю им я.

В календы крошками кормила их с руки,
Смеясь, календул городских подруга.
И на колени опускались голубки,

На платье желтое, не ведая испуга.
Что смерть? Что вечность? Дымная вражда.
О, если б выпасть из ее пустого круга!

Брать хлеб доверия, ценить тепло гнезда...

## Я ЛЮБЛЮ

Я люблю, когда лучи скупые
Держат мир на тонких волосках,
Строя утра замки голубые
На летучих золотых песках.

Воля не взволнована как море,
Чайкам не завидуют глаза;
В отрешенном, безграничном взоре
Узнаны, как в капле, небеса.

Будто мысль в кольцо любви продели –
Так легка, туманна и тонка,
Что трепещут перед ней пределы
И дрожат немые облака.

## ЗИМНИЙ ПУТЬ

Не по нитке – по нити светящейся, с миру
Собирается веры пучок. И несут
Издалека волхвы в знак смирения – смирну,
Ладан – в лад, и из золота чистый сосуд.

Это сон. Это солнце восстало средь ночи!
И в глубокой пещере светло, как в раю.
И ведет мимо падей и волчьих урочищ
Зимний путь, не подвластный уму и вранью.

* * *

Железный мост. Железный поезд.
Судьба в заклепках и пролетах.
Лети, ничуть не беспокоясь
О на ходу сводимых счетах!

Железный стих. Машинописный.
Чернил не достает февраль.
Сквозные, а скрежещут числа!
Иных не емлет магистраль.

* * *

Горьким дымом тянется дорога,
Чувств мерцанье ворошат ветра.
Позади осталось слишком много
Теплых звезд сердечного костра.

Странно ветка за спиною треснет...
Прежний мир потерян навсегда!
Загрустить бы журавлиной песней,
Но и это – как в реке вода.

Маху даст, иль крюку – те же трюки,
А вернуться воля не дана;
По бокам – две верные разлуки:
Справа отмель, слева крутизна.

Так вперед! Дороги нет священней,
Если сердце чуткое иметь...
Бьются в такт две жилки сокращений –
Справа глупость жизни, слева смерть.

* * *

Глухие пятна трав за домом,
Грязца коричневая луж...
Тепло, но в веянье медовом
Дрожит душистый венчик стуж.

И одуванчик на пригорке
Не тает в солнечном огне:
Подуй на колкие иголки –
Пройдет поземка по стерне.

Ах, наше северное лето
Короткое, как жизнь сама!
Белеет пух, как будто это
Все кружит, все сквозит зима.

## ШЕЛЕСТ

Дышим разлукой, бродим по роще,
Шелест в прозрачной грусти полощем,
Будто не листья – мы покидаем
Небо с зарею, Китеж с Китаем.

Слышится шелест в призрачном мире:
Пушкин – о чести, честь – о мундире,
Гамлет – о мести, месть – о Лаэрте...
Тонущий шелест жизни и смерти.

* * *

Земное долголетье – от земли;
От неба в нас – ко времени презренье.
Поля пусты, деревья на мели –
Знакомое душе тихотворенье.

За осени кострами – чистота
И холод, будто не закрыта вьюшка
Небесная. И виден край скита
В заиндевелых замерших опушках.

* * *

Снег. И веет холодом от окон.
Одиноко в мире одиноком,
Но едины лира и душа.
Можно быть провидцем и пророком.
Тишиной и нежностью дыша.

И пустынно. И совсем не пусто!
Постоянство снега – только чувство
Всех тропинок на своих местах.
Можно душу вывернуть до хруста,
Погружаясь в этот светлый прах.

Ничего в пространстве, кроме вьюги,
Чтоб молиться об ушедшем друге,
Может, самом близком на земле...
Он молчал о маленькой услуге –
О едином слове, о тепле.

* * *

И да, и нет – сквозь тьму и свет,
И замерзая, и сгорая,
Душа летит...и ей претит
Возможность ада или рая.

И в неслиянности ни с чем
Она завидует снежинке,
Что гибнет на твоем плече
В неизъяснимо-нежной дымке.

* * *

Снег не таял в буграх низин,
Луч дремал на коре ольховой.
Между вывернутых лесин
Застоялся невешний холод.

Прошлогодней травы клочки
Кромкой поля тянулись к свету.
Стебли были как жизнь узки,
Поле было широко ветру.

Двух несхожих миров верста.
Я набрел на ее извивы,
Как на фразу, что жизнь – пуста...
И согласно кивали ивы.

* * *

Ни огня, ни звезды, ни сполоха –
Только ровная темная гладь,
Чтобы все принимать без подвоха
И без умысла все отвергать.

А узоры нескучного сада,
Тяжесть яблок и ветер с реки –
Отголоски прощального взгляда,
Сны привычные, что далеки.

Век циничный  безжалостно прожит.
Даже совесть устало молчит.
Неужели ничто не встревожит?
Да, ничто. И вопрос нарочит.

* * *

С верой в землю жить... А вот без веры
Проживи, не скурвясь, не предав,
Отметая прошлого химеры,
Никому не делая вреда.

Жаль, что не рожден для службы царской,
Веру в землю мог бы заслужить.
Только мир охвачен свистопляской –
Чем в нем, кроме слова, дорожить?

**ПОЭЗИЯ**

# Николай Смирнов

# *Паутинка веков*

**ПРИИСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 1938**

Костерок горит.
На валунах –
Люди, размотавшие портянки.
В водяных, кипучих пузырях
Золото шипит в консервной банке.
Целый килограмм и триста грамм,
Если б отвезти его в Мологу,
Вот бы подивились бабы там,
Сколько золота бывает много...
И, задумавшись, чрез костерок
Он переступить хотел.
Но вскинул
Карабин испуганно стрелок:
- Стой!
Не видишь – золото! Скотина! –
И повел стволом железным вниз.
Там, на костерке, в консервной банке –
То ль труха древесная, то ль жизнь
Тех, кто сел перемотать портянки.

* * *

Все вернулось... Встретились с тобою
Мы под белой известковою плитою.
Я – палач и ты – палач, давай заплачем,
Нашу тьму слезами обозначим,
Чтобы слышали живые на суглинке:
Мы не люди – только половинки.
Чтобы ведали живые там, за тьмою –
Они только половинки нас с тобою.

---

**Биография Н.В.Смирнова опубликована в № 1 за 2004 г.**

© Николай Смирнов, 2004.

* * *

Вино вишневое заката
Заледенело над бугром.
Здесь глину не берет лопата –
Могилу рубят топором.

Среди скрипучих, чутких улиц,
Где снег и тени, словно сон,
Иного облики проснулись,
Окликнули со всех сторон.

Я затаюсь. Из бездны синей,
Из этой бездны ледяной,
Что называли мы Россией,
Я промолчу про нас с тобой.

Куда же нас ведут, Оксана?
Чьи тени впереди встают?
Глаза из серого тумана
И шепоты – про страшный суд...

* * *

Включишь свет, о спасенье моля –
Ночь придвинется, словно земля.

И к избушке твоей лубяной
Все убитые хлынут толпой.

Из-за сопок и северных рек
Поплетутся, просясь на ночлег.

Отвечаешь – а голоса нет.
Только с шорохом бьются о свет

Просьбы – тихие, как мотыльки...
Где я вас укладу, мужики?

## ВОСКРЕСЕНИЕ

По колено в болоте опоры стоят,
Провода, словно медные трубы, трубят.
Небо синие молнии рвут,
Оплавляют мороженый грунт.

Вижу бедной обшарпанной гальки
Еле видимые бугорки,
А на них понатыканы палки,
А на палках – горят номерки.

И сидят, как гребцы в плоскодонках,
Мои братья в щелястых гробах.
Ароматом смолистым и тонким
Пахнут стружки у них в волосах.

## В ГОРЯЧЕЙ ЗОЛЕ

Главный агроном, председатель колхоза и начальник
Управления сельского хозяйства Миронов
Привели меня к котловану на рыбалку
И со смехом за червячками послали.
Я пошел, оглядываясь на ленточку заката,
И услышал за валуном писклявый голос:
То они вперед забежали,
В черных, вертлявых ребят обернулись,
В костре потухшем золу разгребают,
Достают разные чудесные вещицы,
Верещат: «Давай на них сыграем!»
Согласился я и проиграл им душу.
Тотчас же под нами земля расселась,
В прогорелое место я провалился,
Оказался в золе горячей по горло
И несколько веков разгребал ее, покуда
Из этого провалистого места не вылез.

Сколько времени на земле прошло, не знаю,
Только ленточка зари похолодела,
Словно венчик вечности на мертвом.
Валуны, как осенью, когда вода убудет,
Покоростели водорослями и черным илом.
Где-то поблизости председатель колхоза,
Главный агроном и начальник Миронов.
Вроде я вернулся в то же время,
Все в нем прежнее, но нет России.

* * *

Горой овражною к кладбищенской ограде
Метель ползет. Березы при параде –
Все в инее... А к церковке несут
Зеленый гроб с покойником. И тут,
У врат, оставив крышку и венок,
Усопшего закроют на замок.
И там, где брезжит стрельчатая рама,
У алтаря, в ночную тайну храма
Сойдет со стенки Лазарь бледной тенью –
Собрат по тленью мой, по воскресенью.

* * *

В старой грамоте несколько слов –
Сколько сена четей, да дворов.
Поименно – их ласковый звук...
Он, что глина речная, упруг
И рождает в душе моей ласковый свет
Той деревни, которой уж нет.
Как тепло, хорошо умирать,
Эти несколько слов повторять,
Превращающих в свет нашу курную быль:
Девка Марьица, Флорка-бобыль...

## ПОСЛАННИК

То ли воздух замглел, то ли стали темней
В нашем городе лица прохожих людей,
То ли сердце мое, словно ком земляной...
И куда ни пойду – все старик испитой
В телогрейке, с веревкой в кармане
Предо мною бредет, как в тумане.
Удавиться ли он замышляет,
Или наши грехи обмеряет? –
От собора и до острога –
Как библейский посланник от Бога.

## ЭТА НОЧЬ

И метель, как Иуда, вопит,
И фонарь во дворе не горит
В эту ночь неспроста, неспроста –
Эта ночь вспоминает Христа.
Чьи-то колья и чьи-то мечи...
Со Христом ли я в этой ночи?
Или с теми, кто вышел опять
Предавать его и распинать?

## ЛАДАНКА

Свет серебристый и голос негаданный:
- Этого пепла не хватит на ладанку.
- Что есть Россия? Вот эта щепоть, -
Так мне во сне объясняет Господь.

Был из села привезен на подводе я.
После расстрела мой труп половодием
В Волгу снесло. И приснился негаданный
Сон мне про пепел, Россию и ладанку.

## ОКАМЕНЕВШАЯ РОДИНА

За снежным полем солнечным – поселок,
Окаменевшей родины осколок.
Сереет лиц дресва, и глаз весенний лед
Тоской знакомою мне душу обдает.
Окаменела лошадь, и скалой
Нависнул дым над улицей кривой.
Иду к вокзалу талой колеею,
Чуть не задетый каменной полою –
Пальто распахнуто на пьяном... Зябко мне,
Как будто сердце в минеральном сне.
И сам я каменею, в этот сон
Твоим, Россия, взглядом погружен.

## ПОСЛЕ СМЕРТИ

Заблудился, на дерево влез:
Почему так знаком этот лес?
И недавнего ужаса нет,
И все ярче становится свет.
Вон, дорога видна и кусты
У осоки, где некогда ты
Мимолетным движением глаз
Предсказала, что ясными станут для нас
Образ мира земного, и эта дорога
Со следами Адама и Евы... и Бога.

## СВЯТОЙ НИКОЛА

Уж пущен с неба грозный молот,
Народ лукавый! И сейчас
Идет на Русь Святой Никола
Нас отмолить в последний раз.

И колея души уездной
Ему ложится под стопы,
Где нить колхозной и железной
Твоей запуталась судьбы.

Идет, невидим и неведом,
По опустевшим деревням.
Грозит крестом обставшим бедам,
Взалкавшим крови мертвецам.

Уж та исчезнула деревня
И двор сотлел под лебедой,
Где на гулянке образ древний
Его – поруган был тобой.

Уж перепахано то место,
И поле чахлое кругом,
Где ты смеялась: «Я – невеста!
А ты мне будешь женихом!..»

Но все обугленные руки
От образа не отогнуть.
И лишь живая тяжесть муки
Чуть теплит сморщенную грудь.

Страданье ль то любви небесной,
Забава иль соблазна зов –
Все разрешится здесь, у бездны,
На этой тропке у кустов.

* * *

Что ты строишь, отшельник-репей,
Высотой обозначив своей,
Перемычками, стойками – храм
С семисвечием?.. Так вот и нам
Землю греть нашим тощим теплом.
Что мы строим – узнаем потом.
Только б нам дотянуться сердцами
До незримого храма над нами.

* * *

Колесо прокатилось, умолкнуло
Звучной радугой с высоты.
Фиолетовые или желтые
Про тебя мне расскажут цветы.

Ты зачем, моя радость, расколота
Тут, за кладбищем, на пустыре?
Фиолетовые или желтые
Все цветы отцветут в сентябре.

Кто тебя, мою песню не спетую,
Разорвал на цветные куски?
Эти желтые и фиолетовые
Лепестки, лепестки, лепестки...

Слово крепкое, где же ты? Тусклые
Сны земли в мои очи глядят.
А во снах у стены-то все русские
Люди с плачем на пепле сидят.

## НИЛ СОРСКИЙ

Речка Сорка, избушка да крест...
Среди этих болотистых мест
Толпы помыслов я потопил,
А теперь не осталося сил
Мне во внутренней брани стоять.
Помоги, Богородица-мать!
Вновь встает из болотистых мест,
Обступает меня, словно лес,
И в избушке, и перед крестом
Враг – с моим искаженным лицом.

## БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Белый ангел блистает в полях.
А сугроб - в призаборных тенях.

За шершавой теней синевой
Мир стоит омертвело иной.

Протянул он рогатины рук...
Но очерчен в невидимый круг

Божий мир от безглазых теней
Белым ангелом снежных полей.

Чем короче становится жизнь,
Тем длинней твоя тень – берегись!

## ЧАСОВНЯ

На старом кладбище, где белой таволги
Дыханье райское цветы хранят,
От охры-матери, подземной радуги
Ведет дороженька в иконный сад.

А там – все гуслицы да песнопения,
В цветной оконнице – горячий звон.
Песков ли кварцевые сновидения
Или кузнечики былых времен?

Играет музыка. Мне – доля царская.
И луч отточенный, как сталь, поет.
И вновь лежу я ниц на насте мартовском –
Татарский клевер мне сквозь грудь цветет.

Мечом ли рублены, копьем ли мечены,
Здесь, души русские, процвел ваш лик:
Цветами в венчиках из бездны вечности
Ваш фиолетовый прорвался крик.

В иконных снах моих идут пустынники,
Сбирают ситскую тугу и кость.
Стоит часовенка в седом пустырнике
И крест задумчивый – немного вкось.

## СЛОВО

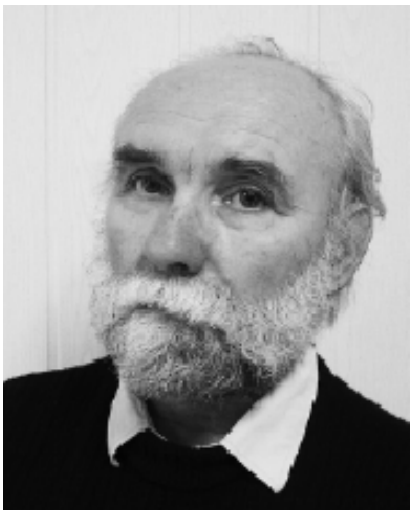
Там, за нашей явью и за снами,
Мир иной – наполненный словами.
Там в словах стоячих, как в стрекозах,
Светит ломкий, синекрылый воздух.
Наша смерть и нищета разлуки –
Это не дающееся в руки
Слово, что в мешке своем прозрачном
Ангел на мгновенье обозначил.
Я вдогонку руки простираю
В адамант упрятанному раю:
Ангел, помоги мне домолиться,
Отделиться, в слово обратиться.

* * *

Затерялся я в Русской земле
Угольком в поседевшей золе.
Сколько зверских и ангельских лиц –
Позабыл я, где верх и где низ.
Сколько разных цветов, облаков...
И летит паутинка веков.
Пролетая, заденет лицо
Ее росное серебрецо.

* * *

В дождик на осенней луговине
Холодно привязанной скотине.
Я иду с ведром. Мычат телята.
Я иду не в огород – куда-то
Вдаль, где пропаду я и растаю,
Где глаголы райские познаю
Про телят, про огород и дождик...
Я умру, как истинный художник –
Бедный, одинокий и безвестный.
Да приблизится к вам рай небесный
В дождик на осенней луговине...
Пусть меня не будет и в помине!



Михаил Савицкий

# *Ты будешь художником*

## СЯВЫЙ, ЖДАН, БУДЯ

В начале сентября 1946 года, возвращаясь из школы, мы с ребятами увидели стоящий у нас во дворе «черный ворон». К нему направлялись двое.

Первым шел коренастый, невысокого роста парень. У него были большие руки с короткими пальцами и такая же большая голова с короткой стрижкой. За ним двигался знакомый нам милиционер, живший в том же дворе.

– Сявый... Сявого взяли... – зашептались мы.

О Сявом у нас во дворе ходили легенды. Самая распространенная гласила, что однажды Толик Сявый с дружками, встретив зимним вечером старушку, заставил ее снять с себя старое пальто. Когда же та запричитала о своей бедности, Сявый надел на нее норковую шубу и шапку, снятые с другой жертвы. И ушел.

А теперь вот его вели на глазах у всего двора в воронок...

В тот момент, когда одна нога Сявого уже была в машине, он резко рванулся, сбил милиционера с ног и побежал обратно во двор.

Милиционер прицелился и выстрелил. Сявый упал, схватился за ногу и заорал благим матом. Подбежав, оперативники схватили его и потащили обратно в машину...

Мы оцепенело смотрели на них, не веря, что все это совершается на наших глазах, а не на экране. Но это было не кино. Это был Ярославль послевоенных лет и дело происходило у нас на Божедомке, а точнее – в нашем, знаменитом на весь город Гаранинском дворе, что находился между улицей Рыбинской и улицей Салтыкова-Щедрина.

Двор этот имел пять выходов на четыре улицы, а потому слыл в воровской среде очень удобным на случай милицейских облав. Но и облавы были частыми, воровские «малины» в это время милиция трясла беспощадно. Я помню, как взяли воров в законе Крысу и Цыгана, помню, что братьям Ханам удалось скрыться. А вора по кличке Кот опера уложили прямо на картофельном поле, мордой в грядку. Все эти случаи передавались у нас во дворе из уст в уста, обрастая по пути удивительными подробностями, становились местными легендами...

Даже теперь, спустя шестьдесят лет, я помню многие лица, помню клички этих ребят, недавних школьников, начинавших тогда свою воровскую биографию: Есый, Зява, Ждан, Будя... Помню заикающегося Кадю, предводителя шайки искусных воров-карманников, помню его напарников – Пятака, Гену-Сотку... Куда

---

**Биография М.П.Савицкого опубликована в № 2 за 2003 г.**

© Михаил Савицкий, 2004.

они все делись потом? Сгнили в лагерях? Завязали? Ухватили свой фарт и отвалили из северного города в теплые края? Кто знает...

В теплые летние вечера, нагонявшись до одури в футбол, мы рассаживались во дворе около сараев, окружив полукольцом одного из тех, кто уже «понюхал зону» – и, открыв рты, внимали рассказам о Колыме и Воркуте, о крутом, но справедливом начальнике лагеря, о его дочери-красавице, с которой все зэка не сводили глаз, но которая почему-то с первых же дней положила глаз именно на рассказчика. Темнота сгущалась, но домой уходить не хотелось, потому что рассказчик приберегал самое интересное под конец.

– ... И тут этот фраерок, в натуре, начинает нести пургу, что сам он с «города Катаева», с крытняка – а потом вынимает волыну...

Ну, как тут уйдешь?

И все-таки мама и бабушка загоняли меня спать. Возбужденный рассказом и «блатной музыкой», я неохотно шел домой, то есть, в конюшню, что стояла у стен бывшего клуба, разбомбленного немцами в первый же год войны, вместе с артиллерийским расчетом. Внешние стены – это было единственное, что осталось от здания клуба; ни внутренних стен, ни лестничных переходов не было и в помине, а деревянные балки и стропила жители нашего двора давно уже распилили на дрова. Досталось от взрыва и нашей конюшне: стены ее были утыканы осколками, извлечь которые было почти невозможно, крыша осела на целый метр – и устоявшая кирпичная труба возвышалась над ней, как памятник войне.

Жилая часть конюшни, состоящая из комнаты и кухни, выходила на Рыбинскую улицу. Кухня тоже была обитаемой, здесь стояли русская печь и кровать, а над печью были полати. Здесь, в жилище тети Маши Соколовой, вдовы умершего конюха Михаила Костылева, мы и ютились: я, мама, бабушка. А глава нашего семейства, мой отец Павел Савицкий уже девятый год находился в неволе, в лагере, на станции Инта Коми АССР.

Что я знал тогда об отце? То, что он посажен по «политической», 58-й статье. Что он меня очень любит. Что мечтает о том, чтобы я стал, как и он, художником.

## ЛОШАДИ ЗА СТЕНОЙ

Что такое неволя, я представлял себе смутно. По дороге в школу мы с ребятами чуть не каждый день видели пленных немцев, живых фрицев в военной форме. Они совсем не были похожи на фашистов из кинофильмов – шутили, улыбались, заговаривали с нами, привлекая наше внимание разными ручными поделками. В школу кое-кто из ребят приносил то губную гармошку, то перочинный ножик, то зажигалку. «Фриц подарил» – небрежно бросал он. Мы вертели подарок в руках: от простого, безобидного предмета исходила какая-то непонятная тревога. Чем от этих вещей веяло – войной? пленом?

Позднее, в самом конце сороковых годов мне довелось увидеть и других невольников: на станции Всполье, что ныне зовется Ярославлем-Главным, стоял состав с вагонами-телятниками. В каждом из них было по два-три выпиленных окна с железными решетками – и сквозь эти окна было видно, что вагоны под завязку набиты людьми. Почему-то это были только женщины и дети. Держась за ржавые прутья решеток, они негромко просили хлеба – но охранники были рядом и никто из стоящих на перроне не решился приблизиться к несчастным.

Может быть, и мой отец однажды ехал в таком же вагоне – и никто не подал ему ни куска?

Но в те летние вечера я об этом не думал; голову мою всецело занимали услышанные во дворе рассказы. Хлебая картофельный суп, я представлял себя тем самым удачливым лагерником, для которого зона – что мать родная, я искусно выпутывался, подобно ему, из разных передряг и выходил, в конце концов, на волю – но уже не слюнявым «фраерком», а авторитетным, битым зеком, может быть, даже и «вором в законе».

Как стать таким? Доподлинно я этого не знал, но первые шаги к этому будущему уже пытался делать: в один из ближайших вечеров мне предстояло идти вместе с ребятами «бомбить голубятню» на Советской улице, нести за поясом топор, взламывать дощатую сарайку, хватать и запихивать за пазуху сонных, теплых птиц...

Синий вечер подступал к нашим окнам, на глазах превращаясь в ночь. За стенкой слышались глухие удары – это на конюшне били копытами в пол лошади, принадлежавшие заводской столовой; изредка наше жилище пронизывало тоскливо-призывное, истовое ржание. Позевывая, я поглядывал в окно: не потрошит ли кто в недалекой кинобудке «угол», то бишь, чемодан с краденым. Наши окна глядели как раз на кинобудку – пустое, узкое помещение, ничем не примечательное, кроме пути в него: попасть туда можно было, лишь вскарабкавшись по стене по выступающим железным штырям. По этой причине его и облюбовали вокзальные воры, промышлявшие кражами ручной клади пассажиров на станции Всполье. И днем, и вечером из наших окон можно было наблюдать, как склонившиеся над чемоданом темные фигуры делят его содержимое.

Потом я нехотя плелся к своей кровати – старинной, высоченной, с никелированными балясинами и пружинным матрасом, кое-как забирался на нее (матрас издавал при этом некий музыкальный звук, как бы сообщая, что груз принят) – и почти мгновенно засыпал.

Мне снились голуби...

## ГОЛУБИ И ГОЛУБЯТНИКИ

Голубятников у нас на Божедомке было – пруд пруди. И старых, посвятивших разведению и приручению этих птиц всю свою жизнь, и молодых – но уже полюбивших голубей той любовью, что сродни любви человека к человеку. Случалось, что жены, ревновавшие к голубям своих мужей, покидали своих благоверных только по этой причине. Случалось также, что люди шли на преступления, чтобы добыть корм для этих птиц. Отсидев срок, они возвращались к любимому делу – выпускали на крышу своих турманов и почтарей, брали в руки махало и, светясь от счастья, размахивали им, словно победным знаменем, посылая птиц в высокое голубое небо.

Стая сначала низко кружила над крышами, как бы набирая скорость – а затем, резко взмыв вверх, начинала описывать круги диаметром в несколько сот метров. После этого голубятник мог наблюдать настоящее представление. Вот пара, голубь и голубка, отделяются от стаи и, расправив веером хвосты, спускаются вниз – ни дать ни взять, дети, несущиеся на санках со снежной горки. Затем парочка вновь взмывает вверх, сливается со стаей... и вновь отрывается от нее, взмывая все выше и выше. Кажется, высота набрана уже такая, что выше некуда: в нестерпимо голубом небе видны только две точки. Вот и они пропали... Что это? любовная игра? Прорыв птичьей души к той высоте, на какой пара становится единым целым? Как людям узнать об этом?

Синехвостые почтари, турманы-великаны, чернобокие бздычи... всех и не упомнишь. Их кормили, обменивали, продавали, покупали. Один железнодорожник, считавшийся крупным знатоком этих птиц, постоянно ездил за голубями на Украину, в Кременчуг, привозя оттуда в Ярославль умных и выносливых «кременчугов», хохлатых красавцев, способных преодолевать большие расстояния.

Любимым, почти ритуальным занятием голубятников было переманивание птиц. Чтобы переманить соседского голубя, свою голубку выпускали вблизи чужой голубятни – если самцы в это время гуляли по крыше, один из них непременно взлетал и устремлялся за дамой своего сердца. Влюбленные перелетали на территорию самочки, а здесь их уже поджидал коварный хозяин голубки. Медленно подкравшись, он хватал пернатого Ромео и, спустившись на землю, торжественно направлялся к его хозяину: дабы вновь разъединить влюбленные сердца, тому предстояло заплатить выкуп, пять или десять рублей.

Верность друг другу у этих птиц поразительная. Однажды летом из Ярославля в Винницу был продан голубь-самец, без голубки. Его подруга не притрагивалась к корму несколько дней, не летала вместе со стаей... а осенью ее возлюбленный вернулся!

Не от этих ли птиц заражались «романтикой» и люди? Как сейчас, помню такой случай: один заводской работяга вышел с ружьем на улицу и от нечего делать пальнул в гуляющих по крыше голубей. Утрата белого хохлатого потрясла 17-летнего хозяина, Кольку Сачкова – он рыдал, захлебывался слезами. А через два дня застрелился из того же ружья и сам работяга. От него ушла жена и он, лежа в кровати, нажал на спусковой крючок большим пальцем ноги.

Самые крупные голубятни насчитывали до полусотни птиц. Все ребята знали серьезных голубятников центра послевоенного Ярославля: на Большой Октябрьской держал птиц Коля-Ночка, прекрасный рассказчик, помнивший всех своих питомцев по именам; на проспекте Шмидта (ныне пр. Ленина), во дворе дома № 18 стояла голубятня, хозяином которой был молодой мужик по кличке «Кума»; в соседнем дворе, у Загородного Сада, жил держатель голубей по кличке «Дохлый». На пересечении улиц Толбухина и Рыбинской была голубятня Пономаря, чуть ли не самая большая в городе. А на Городском Валу все знали Толю-Морду, который, забыв о воспитании своих детей, занимался только голубями.

Никто не знает, почему в ту пору столь модным было это развлечение, чем так привлекали нас тогда эти сизари и турманы, вьющиеся в голубом небе.

Наверное, тем, что в полете мы были с ними.

## ЛАГЕРНЫЙ ХУДОЖНИК

Шестьдесят лет прошло с тех пор, но все это – и лица приятелей, и наш двор, и голуби – до сих пор живо в моей памяти. Иногда я пытаюсь нарисовать их... И все чаще и чаще возвращаюсь мыслями к тому, что было, как мне теперь представляется, главным в моей тогдашней жизни – к отсутствию в ней отца. Я достаю из своего домашнего архива несколько папиных рисунков, писем, бережно перелистываю пожелтевшие листки линованной бумаги, скольжу взглядом по строчкам. И вспоминаю, вспоминаю...

Сегодня мне уже многое известно о моем отце. И он, и моя мать – с Черниговщины, из деревни Ярошовка; в Ярославль их занесло в 1933 году, в самый разгар раскулачивания. Спасаясь от милиции и бедняцких активистов, отец моей мамы, Сергей Тимофеевич Зигун несколько дней сидел, согласно семейному преданию, в болоте – а затем с фальшивым паспортом в кармане рванул в Москву. Узнав в поезде от попутчика, что в Ярославле идет мощное строительство резино-асбестового комбината и требуются рабочие руки, он решил попытать счастья в этом городе. Через месяц к нему перебралась семья, то есть, жена, сын и дочь Маша. Так моя мама Мария Сергеевна шестнадцати лет отроду оказалась
в Ярославле.

Жить переселенцам было негде, поэтому даже вариант с конюшней, который предложил им знакомый конюх, показался подходящим. А после того, как бабушка устроилась посудомойкой в заводскую столовую, семья стала и лучше питаться: осунувшиеся от голода дети поправились за месяц. Именно в это время на Украине шел печально знаменитый голодомор 1933 года, называемый ныне геноцидом украинцев, с массовыми случаями людоедства, унесший, в общей сложности, жизни около 10 миллионов человек.

Но Зигуны спаслись, и дорога из Ярошовки в Ярославль была ими проторена. Вслед за этой семьей сюда перебрался и 19-летний Паша Савицкий, мой

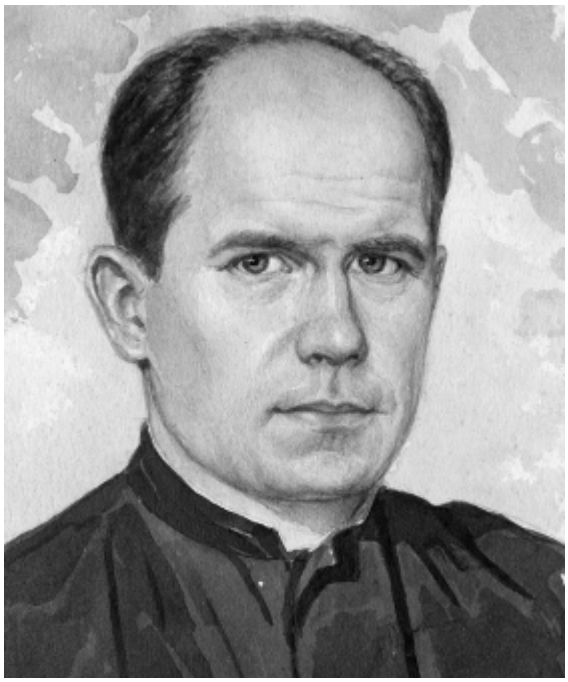
**Послевоенный Ярославль**
**в рисунках Михаила Савицкого**

**«Черный ворон». Перо, карандаш.**

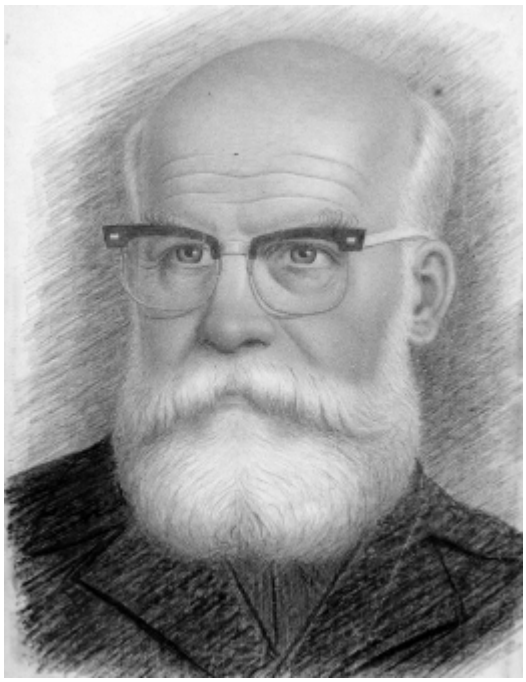
**Ожидание. Перо.**

**Голубятня. Карандаш.**

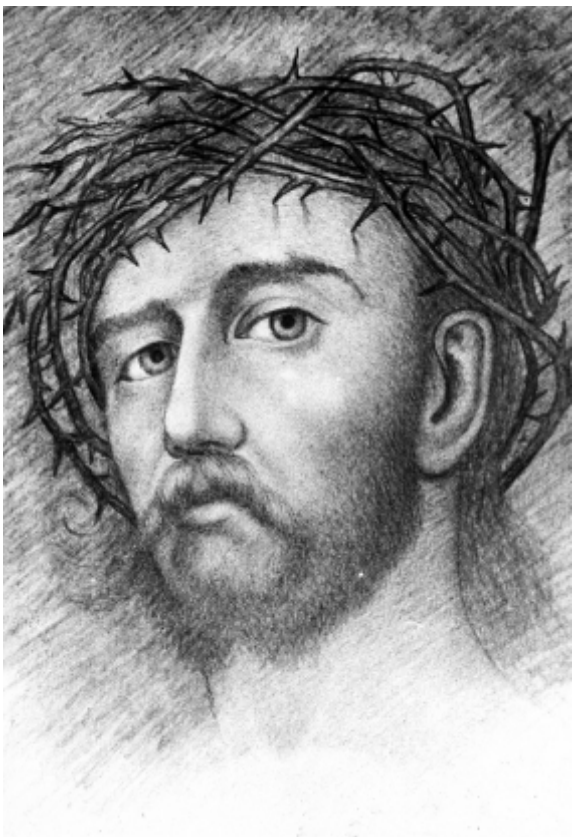
**Материалы из архива М.П. Савицкого**



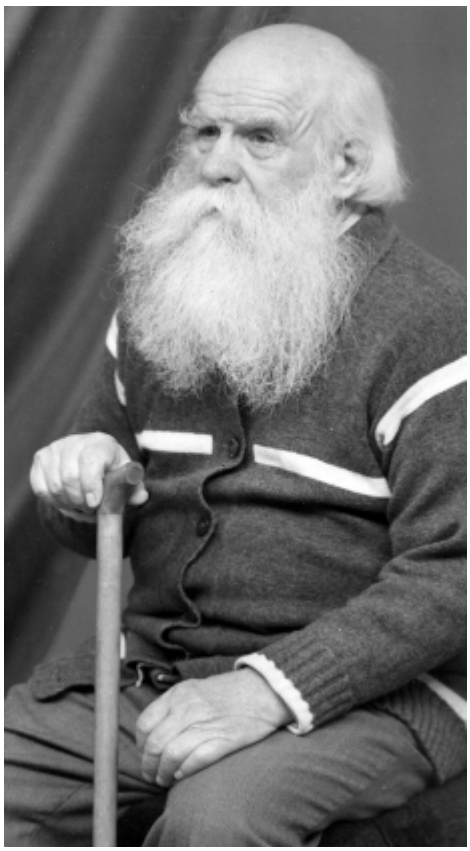
**Павел Савицкий. Автопортрет.
Акварель. Инта, 1954 г.**



**Павел Савицкий. Автопортрет.
Цветной карандаш. 1978 г.**



**П. Савицкий. «Спаситель,
воззревший на Апостола Петра
во время его троекратного отречения».
Рисунок 1990 г.**



**Павел Петрович Савицкий.
Фото 1980-х гг.**

будущий отец. Талантливый хлопец поступил в частную школу живописи Николая Павловича Шлейна в Костроме, в 1937 году окончил ее и стал работать художником в Ярославле, в театре имени Волкова. В 1938 году родители поженились, в 1939 году родился я. А в 1940 году 25-летнего отца семейства арестовали по обвинению в пропаганде и распространении религиозной литературы, упрятав за решетку на долгие годы.

Уже академик Шлейн отмечал, что отцу прекрасно удаются портреты. Глядя на карандашный черно-белый портрет молодой женщины, сделанный папой в лагере, я понимаю, что это не натяжка: с листка обычной сероватой бумаги на меня широко открытыми глазами смотрит совершенно живой человек, добрый, участливый. Кажется, что эта женщина вот-вот улыбнется и заговорит со мной... вот если бы так и случилось! Наверняка, я узнал бы о папе что-то новое. Кто эта женщина? что ее связывало с моим отцом? Как знать...

А вот автопортрет отца, выполненный акварелью: лысоватый крепыш во френче смотрит на зрителя как-то особенно весомо и уверенно. Не зная, что этому человеку предстоит пробыть в заключении еще три года, пожалуй, и не скажешь, что он – лагерник. Твердый подбородок, спокойный взгляд... только где-то глубоко-глубоко на дне серо-голубых глаз таится печаль. Это Инта, 1954 год.

Другой автопортрет сделан зимой того же года: отец в шапке и пальто с барашковым воротником; густые усы придают ему некоторое сходство с Тарасом Шевченко.

Да, не похоже, что лагерь сломал моего батю. А ведь мне известно, что он испытал и ночные допросы, и избиения, и карцер, наполненный тюремной мочой. Срок он получил за «пропаганду и распространение религиозной литературы», взяли его (вместе с его матерью, Прасковьей Ивановной, и младшим братом Евгением) в Киеве – и всем припаяли от 20 до 25 лет лагерей.

К тому времени, когда я вместе с друзьями наблюдал в Гаранинском дворе поимку Сявого, а вечерами «бомбил голубятни» и мечтал о воровской карьере, отец успел уже отсидеть лет шесть – и зековская его судьба изменилась в лучшую сторону: талант Павла Савицкого был замечен начальством лагеря, ему предоставили возможность рисовать, писать портреты.

Естественно, начальство использовало лагерного художника утилитарно: он выполнял, как сам рассказывал мне позднее, огромные портреты вождей, изображал само начальство, вместе с чадами и домочадцами. Но оставалось время и для того, чтобы поработать над изображениями товарищей по несчастью: за тринадцать лет первого своего заключения отец написал, по его собственным подсчетам, около тысячи таких портретов. После того, как в нашу страну пришла «гласность», некоторые из отцовских работ начали, совершенно неожиданно для меня, всплывать на поверхность времени: в 1990 году в журнале «Наше наследие» появилась статья бывшего узника ГУЛАГа Анатолия Ванеева, в качестве иллюстрации к которой был помещен один из лагерных рисунков отца.

Вчитавшись в статью Ванеева, ученика известного русского философа Льва Карсавина (сидевшего и умершего в том же лагере, где был и мой отец), я понял, что судьба, волей-неволей, подарила моему папе встречи с людьми, имена которых немало значат для русской культуры и науки – с тем же инженером Ванеевым, со Львом Карсавиным, Н.Н. Пуниным (вторым мужем Анны Ахматовой), с астрономом Александром Некрасовым, с Е.Дивничем, с искусствоведом и историком из Киева А.В. Праховым, с профессором Чижевским. Он встречался с ними, он писал их портреты, беседовал с ними – и эти встречи и беседы не могли, разумеется, пройти для отца бесследно: лагерные университеты, как я полагаю, завершили формирование его личности, и до этого крайне самостоятельной в суждениях и поступках.

...Вновь рассматриваю отцовские письма из лагеря. Шесть прошедших десятилетий мало повлияли на их сохранность: ни чернила, ни бумага не выцвели, папин

каллиграфический почерк легко узнаваем. В каждом письме – яркий акварельный рисунок: то полевые цветы, то сочный арбуз, то заснеженные елки. А вот и портреты дорогого сынка Мишеньки, как называл он меня в письмах – портреты, сделанные папой по фотографиям... Отдельные листы, возможно, прошли тюремную цензуру: некоторые строки замазаны. А некоторые письма явно вышли за пределы лагеря «неофициальным» путем, с оказией – уж больно смело автор в них высказывается.

Конверты тоже расписаны рукой отца. По штемпелям кое-где можно различить даже дату отправки... но я и так помню, что эти письма приходили два-три раза в год – в декабре, ко дню моего рождения, к Рождеству и на Пасху. Новых, «советских» праздников Павел Савицкий не признавал.

Вот они, эти письма, полные тревог и надежд... пусть читатель отнесется к ним, как к одному из трагических документов эпохи.

## ПИСЬМА ИЗ НЕВОЛИ

*Предположительно, конец 40-х гг.*

Добрый день!

Мой дорогой, родной, милый и любимый сынок Мишенька! Сообщаю тебе, мой дорогой сыночек, что я, слава Богу, жив и здоров. Живу хорошо, только скучаю за вами – за тобой, за мамой и бабушкой, которую я очень люблю, она у нас очень хорошая, умная и добрая. Мне ее очень жалко. Жалей и ты ее, слушайся, уважай и люби! Маму тоже слушайся, она так тебя любит, для тебя живет. Ей очень трудно жить без меня. Потерпите еще немножко; скоро я приеду и все улажу, все дела поправлю.

Тогда я тебе куплю все, что только пожелаешь, что только придумаешь. А пока, мой родной, примирись с тем, что есть. Ибо мамочке бедной очень трудно, она бы рада для тебя сделать все, что только в человеческих возможностях; она так тебя любит! Но она не может зарабатывать денег так много, чтоб хватало на все. Старайся, мой родненький, поступать так, чтоб маме было приятно. Веди себя скромно, не подражай ребятам с дурными привычками, как например: курение, дурные слова и т.д. Смотри! Я все узнаю. Больше рисуй, ты у меня способный, умный мальчик. Не то, что другие. Вот, мой родненький, пока все. До скорого свидания. Целую тебя в лобик отечески. Твой папа.

*Предположительно, январь 1950 г.*

С новым годом, дорогой сынок Миша!

Поздравляю с Новым годом и с Рождеством Христовым всех вас, маму, бабушку и дедушку. Желаю вам от Господа всего наилучшего в вашей жизни.

Простите, что я так долго не писал и вообще редко пишу, это не от меня зависит. Не огорчайтесь, но я должен сообщить, чтоб вы не думали ничего плохого и не расстраивались, что мне разрешается посылать два письма в год. В прошлом 1949 году я послал и получил от тебя два письма, которые и теперь перечитываю, когда взгрустнется (а это бывает часто). Дорогой сынок Мишенька, пиши, как встречал Новый год и Рождество Христово. Устраивала ли мама тебе елку и т.д. Как учишься, рисуешь ли и какие отметки имеешь по рисованию. Старайся как можно больше рисовать, особенно с натуры (простые предметы), ты будешь художником, я это знаю, мне учительница писала, что Миша рисует отлично, как никто.

Слушайся маму и бабушку, помогай им, люби их, жалей. У тебя мама лучше всех на свете, а бабушка прямо золотая; умная, красивая и тебя очень любит. А вторая бабушка тоже хорошая, но ты ее не видел, она тебя тоже очень любит и вспоминала тебя каждый день и все хотела, чтоб ты скорее приехал с мамой в Киев, уже и подарков накупила; все говорит, для внучка Мишеньки. А дядя Женя так больше всех тебя любит. Пишет ли он

тебе или нет? Мне нет. Ну, пока все. Передавай привет маме и бабушке. Поцелуй их за меня. Целую тебя в лобик, будь умником. Твой папа.

*21 февр. 1950 года.*

Добрый день!

Моя милая, дорогая, неоцененная и любимая Муся! Что случилось? Почему так долго от тебя нет письма? Последнее письмо от тебя я получил 19 ноября и 13 января посылку. И все! Тебе я посылаю уже четвертое в этом году, только не знаю, доходят они до тебя или нет. Мне только бы знать, все ли благополучно. Если б ты знала, милая моя, как терзает мысль о том, что все ли благополучно дома. Вот эту ночь приснился сон, что я тебя слышу, а не вижу. И так стало тяжело на душе, что я места не нахожу. Душечка что-то предчувствует, а не скажет. Я не думаю, что ты не пишешь, но я не получаю. Мне, по всей вероятности, не вручают здесь на месте. И не только мне. Вообще, все получают очень редко. Такой здесь «порядок». Специальный лагерь. Степлаг. Два письма только в год разрешается. А получать столько, сколько пришлют. Но и это не выполняется.

Маня, я никому не пишу, кроме тебя, поэтому ты мне должна написать и о Жене, пишет ли он тебе. Я и адрес потерял от него. Из Киева тоже не получаю.

Ведь написать не трудно, но надо еще найти способ отправить, а ты себе и представить не можешь, как отсюда отправлять, при этом режиме. Это одно, а потом еще и там на месте есть мерзавцы, которые перехватывают письма и отдают их в Спецотд.

Я послал тебе и Мишеньке с цветочками! Тебе клубничку нарисовал, Мишеньке ромашки, васильки и др. полевые цветочки. Как бы я рад был, если б вы получили эти письма. Но как же я буду знать? Допустим себе, что ты напишешь, что письмо с цветочками получила, но они мне не отдадут и почем я узнаю. Вот в чем весь ужас этого деспотизма. Где это видано, чтоб запрещалась переписка с родными. Что я за преступник! Я честней их всех вместе взятых! Я не совершил преступления, достойного такого наказания. И таких, как я, миллионы. Миллионы мучеников за Правду. Я лично за правду готов умереть в любую минуту; готов принять любую смерть. Для меня лучше смерть, чем неправда! О, ужас! Как посмотрю, что делается вокруг, то жить и минуты не хочется.

Вспоминаю, как мужественно и добровольно умирал за правду философ Сократ; и хочется ему подражать. Будь тверда и сына воспитай так же. Ну, до свидания, моя княгиня Волконская, целую тебя, крепко-крепко. Твой П.

Напиши коротенькое письмо, в котором напиши, если получаешь мои письма, так: письма от Павла получила столько-то и такие худож. и т.д. Но не пиши, что письма твои получила.

*Предположительно, декабрь 1952 г.*

С Днем рождения, Миша!

Здравствуй, мой драгоценный сынок Мишенька! Кланяйся от меня бабушке и дедушке, а также своей доброй, дорогой мамочке. Слушайся маму, помогай ей, старайся облегчить ее трудную жизнь. Ей очень трудно. Она, бедная, бьется, как рыба об лед. А когда я приеду, тогда мама работать не будет, а будет отдыхать, а ты будешь учиться в Академии художеств. Я хочу, чтобы ты был художником. И ты будешь художником. А пока, хоть как ни трудно, учись! Старайся каждый день что-нибудь рисовать, карандашом с натуры так, как на приемных испытаниях в Академию или институт. Самое главное, специальный предмет (рисование, работа красками), причем, каждый рисунок, набросок, законченный или нет, береги и ставь дату. Все это будет нужно. Так, с одним вопросом покончили. Теперь, мой дорогой сынок Миша, в следующем письме напиши, какие ты читаешь книги и вообще, какие прочел. Я здесь недавно рисовал портрет Гайдара (детский писатель), ты должен знать, и прочитал несколько его рассказов, особенно понравился рассказ «Чук и Гек». Я читаю Толстого, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, хоть я и очень хорошо и так знаю много наизусть. Ну, об этом достаточно.

Тебя интересует, как я здесь живу.

Дорогой мой сынок, я живу хорошо, слава Богу, не голоден, одет, обут и работаю в помещении. Погода пока стоит хорошая, тихая и падает снег (так, как я нарисовал на первой странице этого письма). Прости, что так нарисовал плохо. Очень плохая бумага для акварели, кроме того, темно и я без очков плохо вижу. Здесь скоро дня совсем не будет, а будет ночь. Очень красивое северное сияние в наших местах. Зима здесь суровая, но я холода не боюсь (это мама может подтвердить). Особенно когда тепло одет и сыт. Пишите чаще, не ждите ответа, так как... (далее текст вымаран цензурой – Ред.).

Поэтому прошу не обижаться, приезжать сюда не надо, так как свидания не разрешают. Мишенька, ангел мой, напиши бабушке письмо, что я недалеко от нее, всего 60 км, а дяде Жене напиши, чтоб он мне посылки слал и бабушку пусть не забывает. А то я до него доберусь.

Миша, я в прошлом году посылал тебе два портрета, свой и мамы твоей, ты получил или нет, очень хорошие портретики. Жаль, если пропали. Ну, пока все, мой золотой умник, сынок Мишенька! Поздравляю тебя с днем рождения и с Новым Годом одновременно, т.к. до Нового года я уже писать не буду, не имею права. Вы посылок мне не шлите.

Поклон бабушке, дедушке и маме.

*Декабрь 1954 г.*

С Днем рождения!

Дорогой сынок Мишенька! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю быть счастливым, здоровым, умным и справедливым. А еще желаю, чтоб ты в скором будущем дождался своего родного отца (меня).

Когда я с тобой прощался, ты меня не можешь помнить, так как тебе было тогда 5 месяцев (это было 20 мая 1940 года). С тех пор прошло 14 длинных, тяжелых лет. За такой период стирается всякое самое сильное чувство. Это в том случае, если оно было. Но у тебя, мой родной, и стираться было нечему, поскольку ты не успел приобрести это чувство. Но твоей вины в этом нет, равно как и моей. Это чувство можно восстановить путем нового живого общения, но мы лишены пока этой возможности. Судьба воздвигнула между нами большие преграды.

Но как в природе после ненастья бывает ясная погода, так и в жизни человека. Может, даст Господь и мне солнечный день. Я на тебя не обижаюсь за то, что ты мне не пишешь. Но впредь хочу тебя просить и советую, как отец сыну, поддерживать хоть изредка переписку. Это не мне нужно, а тебе. Поскольку ты уже имеешь 14 лет, ходишь в 8-й класс, следовательно, начинаешь быть понимающим, рассудительным мальчиком. Пред тобою лежит много таинственных и неизведанных путей и тропинок. Прежде чем стать на любую из них, ты должен спросить маминого совета и позволения (или моего). Мама ближе – я далеко, но я имею больше опыта жизни. Твой сыновний долг – воспользоваться опытом своих родителей. Они тебе худа не желают, но, наоборот, желают добра больше, чем самим себе. Слушайся маму и нашу умную, добрую бабушку, они тебя очень любят и жалеют.

Не расстраивай маму, она больная, нервная. Старайся ничем не огорчить, потому что за мать очень большой грех пред Богом. Как только видишь, что мама расстраивается – отступи, будь умником. Смири себя. И увидишь, как будет потом хорошо. Я оформил в ноябре для отправки вам 200 рублей денег, но еще не отправила бухгалтерия. Думаю, что ко дню рождения получите.

Мишенька, пиши как живешь, как учишься, как проводишь время. Какие бывают приключения, неудачи и т.д. Все пиши. Мне все интересно. Кланяйся от меня маме и бабушке, дедушке и Ипполиту Васильевичу. Он тебя в кино пускает?

От дяди Жени сегодня получил письмо, он пишет, что приехала твоя бабушка Параска. Я очень рад. Ты напиши ей письмо, она хорошая, добрая бабушка, тебя очень любит. Маме послал два письма, а от нее нет ни одного, что такое? Спроси ее. Пока все.

Целую тебя, мой родной сыночек, в головку, чтоб умником был и посылаю тебе свое родительское благословение на всякое доброе дело.

Твой портретик сделал на скорую руку. Прости, какой вышел.

## ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Мама читала мне эти письма вслух, интонационно подчеркивая «воспитательные» места... и это, конечно, влияло на меня. То, что я – сын художника, что эта страсть – наследственная, я знал с пяти лет. Но самостоятельно краски впервые опробовал только лет в десять, расписывая акварелью суповые тарелки. Почувствовав, как разные краски смешиваются и ложатся на плоскость, я начал экспериментировать: на одной тарелке изобразил цветок красного мака, на другой – парусник. Потом переключился на чайные блюдца. А через полгода, начитавшись Станюковича, увлекся изображением военных кораблей. Производство акварельных катеров и эсминцев «встало на поток» – и в глазах мальчишек Гаранинского двора я сильно вырос.

Идеи, связанные с рисованием, овладевали мной постоянно, но претвориться в реальность им все время что-то мешало. Лет в четырнадцать, когда весь наш двор вдруг загорелся желанием лицедействовать на подмостках сцены, я весь вечер обдумывал, как распишу заднюю стенку декорации... а утром весь этот план неожиданно рухнул. А после того, как знакомый художник, посмотрев мои рисунки, сказал матери, что художником ее сын не станет никогда, занятия рисованием вообще как-то отодвинулись на задний план.

В 1953 году умер Сталин. Наши надежды на скорое освобождение отца быстро испарились, из заключения он вышел лишь в июне 1957 года. Но – так распорядилась судьба – к нам в Ярославль он не вернулся, решил остаться в Киеве.

В сентябре 1958 года, перед отправкой на службу (на Северный флот), я принял решение повидать его. В это время отец жил в дачном поселке Ирпень под Киевом, в доме своего младшего брата Евгения, который освободился двумя годами раньше и жил там с семьей. Туда-то я и приехал.

Со стороны наша встреча выглядела суховатой, беспощадное время стерло кипевшие некогда чувства. Мы гуляли с отцом по Крещатику, по Владимирской горке, он много говорил, вспоминал имена, эпизоды, давал мне разные наставления...

Мне захотелось посмотреть, над чем он сейчас работает, что пишет. В углу комнаты стояли загрунтованные и натянутые на подрамник холсты; на одном из них отец собирался писать образ Богородицы. Но я попросил его воспроизвести с купленной мною на Крещатике репродукции композицию Айвазовского «Мыс Фиолент». Отец согласился – и на моих глазах белая поверхность холста обрела колорит теплой южной ночи... Я и до сих пор храню этот холст в простенькой рамке, до сих пор до мелочей помню, как работал отец – начиная с рисунка углем и заканчивая последним мазком кисти на лунной дорожке.

Мое детское увлечение изобразительным искусством обрело новое дыхание лишь в начале 60-х годов. В то время я уже работал освобожденным секретарем комитета комсомола цеха, а потом и всего завода топливной аппаратуры. Профком завода оплатил учебу в изостудии для четверых комсомольцев, среди которых был и я, и в моей жизни наступил новый, очень интересный период. На четыре года я погрузился в стихию художественного творчества: под руководством опытных мастеров, преподавателей Ярославского художественного училища, рисовал, писал маслом, слушал лекции искусствоведов, реставраторов... Заветная мечта отца – чтобы я стал художником – начала понемногу претворяться в жизнь.

А что происходило в это время с моим отцом? Я знал, что он работает художником в одном из кинотеатров Киева, во время своих отпусков путешествует по стране: Волгоград, Ленинград, Вильнюс... Он присылал мне фотографии, сделанные во время этих поездок, рассказывал о своих встречах с бывшими узниками ГУЛАГа, их родственниками. На здоровье отец не жаловался, подводила его в это время только правая рука, с трудом удерживавшая кисть (он продолжал писать портреты). Как и прежде, он много читал: Бердяев, Федотов, Флоренский, Монтень, Дидро... С этими авторами он рекомендовал познакомиться и мне.

Читая письма отца, я понимал: веру в бога из него лагерь не вышиб, а может быть, даже и укрепил. Но думал, что времена уже наступили другие, что «за религию» больше никого сажать не будут.

Моей комсомольской карьере отец препятствовать не хотел, да и не мог. Лишь когда я надумал вступить в партию, а было это в 1968 году, он написал мне знаменательные строки, которые я помню до сих пор: «Поступай как знаешь. Но учти: у партии твоей нечеловеческое лицо».

Наступил 1974 год. Будучи к тому времени преподавателем экономики, я приехал на курсы повышения квалификации в Днепропетровск – и прямо из общежития был вызван к следователю местной районной прокуратуры. Оказывается, ярославский КГБ попросил украинских коллег допросить меня. От следователя (кстати, его фамилия, по какому-то мистическому стечению обстоятельств, была тоже Савицкий) я и узнал, что мой шестидесятилетний отец только что получил новый срок за «антисоветскую деятельность», пять лет.

Следователь Савицкий спрашивал преподавателя Савицкого о художнике Савицком... но что я мог ему сказать? Меня обуревали сложные чувства. Отца мне было жаль. С внешней точки зрения, он был сам виноват - «не успокоился». Но где-то в самой глубине души у меня гнездилось сомнение: а вдруг отец прав в своем неприятии нашего, к тому времени совсем изолгавшегося строя?

Жизнь показала, что именно так оно и вышло. «Идеологический спор» с отцом я проиграл вчистую. Другой вопрос - какой ценой далась ему эта победа. Мои воспоминания как раз и являются попыткой поразмышлять об этом.

Весь срок отец не отсидел, попал под амнистию по состоянию здоровья, вновь освободился. Работал по-прежнему художником в кинотеатре, писал иконы для православных храмов. Пенсия у него была мизерная, но он не бедствовал: откуда-то из Канады, от собратьев по христианской вере ему регулярно приходили переводы, долларов этак по двести в месяц.

Спустя десять лет, в середине восьмидесятых, он все же побывал у меня в Ярославле, увидел своих внучат, Алешу и Свету. Мы гуляли с ним по набережным города, он вспоминал годы, проведенные в Ярославле, легко оперировал именами, датами, живо описывал события, происшедшие несколько десятилетий тому назад. Я пригласил его в техникум, где тогда работал и вел на общественных началах студенческую изостудию, показал свои работы маслом. «Пора высветлять палитру», – заметил он, внимательно вглядевшись в мои холсты.

Не пробыв в Ярославле и недели, он уехал в Киев. Расставаясь на вокзале, я подарил ему маленький поддужный колокольчик, отлитый полтора столетия тому назад. Надпись на колокольчике гласила: «Сдалека весточку собою подавай». По щеке отца покатилась слеза, мы расставались навсегда.

## МИЛОСТИЮ БОЖИЕЮ, Я ПЕРЕЖИЛ ВСЕХ ТИРАНОВ-КАРАТЕЛЕЙ...

Трудно, да и не нужно сыну оценивать отца, тем более, мой папа явно не принадлежит к числу личностей, которые въяве изменяли мир вокруг себя. Но не покривлю душой, если скажу, что свою лепту в происшедшие в стране перемены он внес. Не будучи рукоположенным в сан священником, крепко стоял за веру, нес слово Божье в народ. Страдал, был бит, заточен на долгие годы в лагерь. Спустя полтора десятка лет, будучи стариком, вновь дал властям серьезный повод упрятать его за колючую проволоку. Теперь, когда у всех нас, вчерашних «советских граждан», на многое открылись глаза, мне совершенно ясно, что мой отец, действительно, был опасен коммунистам: внутренне, духовно
он никогда не смирялся с властью, которую считал богопротивной.

Конечно, мне очень хотелось бы прочесть страницы дел, по которым осуждали отца - и в 1940-м году, и в 1974-м. Но уже не по силам всерьез заняться этим: мешают возраст и здоровье. Лелею одну надежду: может статься, кого-то из профессиональных историков заинтересует эта моя статья – и он, покопавшись в архивной пыли, расскажет о лагерном художнике Павле Савицком подробнее и аргументированнее. И еще я надеюсь, что портреты, написанные моим отцом, будут продолжать всплывать на поверхность времени...

Закончить эти воспоминания мне хочется письмом отца, доселе хранящимся в моем домашнем архиве. Это – одна из последних весточек, посланных папой с Украины. И, в то же время, это документ, проливающий свет на духовный мир бывшего узника сталинских лагерей, которому в то время шел уже восьмой десяток лет. Письмо его – ответ на мое письмо, в котором я спрашивал, кто такой Анатолий Ванеев, автор публикации в журнале «Наше наследие», просил отца рассказать подробнее о тех тяжелых временах. Но папа, конечно, не удержался – и дал свою оценку не только прошлому, но и окружавшему его настоящему...

*Киев, 10-го января, 1991 года.*

Поздравляю тебя и всю вашу семью с Рождеством Христовым и Новым годом!

Дорогой сын мой Миша, письмо твое от 23-го декабря получил 30-го, за которое сердечно тебя благодарю. Всем спасибо за приветствие и наилучшие пожелания; взаимно того и вам желаю.

Анатолий Ванеев – мой задушевный друг и брат во Христе; он из Петрограда, по специальности инженер, глубоко верующий христианин сугубо-православного исповедания, что, именно, нас и соединило в единомыслии. Он и молитвенник, и аскет по жизни, строго соблюдал посты (даже в лагерных условиях), словом, не по имени только христианин, но и самим делом, по жизни; таких теперь мало. Однажды нам с ним пришлось быть этапированными. Во время обыска у него отобрали четки (по которым он молился) и Св. Евангелие. По прибытии на место назначения он пошел к оперуполномоченному с просьбой возвратить ему изъятое (он очень вежливый), но ему было отказано. После него пошел я с тою же целью, но и с иным подходом; я не просил, а требовал категорически: у меня при этапировании во время обыска незаконно изъяты Евангелие и четки, я пришел получить изъятое, т.к. эти предметы не имеют никакого отношения ни к политике, ни к режиму содержания заключенных. И я получил требуемое. Он был крайне удивлен и спросил меня, как я действовал; я ему рассказал... И пояснил, что с ними нужно действовать смело и решительно. Их слезами и мольбами не прошибешь. Тот их, кто с каменной душой прошел все степени злодейства... А вежливое обращение у них считается пережитком монархического строя, мещанством.

С.З. Галкина хорошо помню, красивой наружности, культурный, образованный (еврей). К сожалению, с искусствоведом Н.Н. Пуниным я коротко знаком, т.к. в Абези (инвалидный лагерь) я был недолго. Мое пребывание в Абези (под Воркутой) совпало со смертью Сталина. Для меня это было великим и радостным событием; и я из больного инвалида стал совершенно здоровым и жизнерадостным человеком (хотя и з/к). И это состояние «воскресения» не утаилось от посторонних глаз... Знавший меня по Инте нарядчик (король лагеря) Миша Труш, спрашивает меня: «Павел Петрович, что с вами? Вы еле ходили по зоне, а теперь летаете по зоне, как метеор!» Я ему, показывая на усы и указывая пальцем вниз, как бы говорю, что причины моей болезни уже нет... Он говорит: «Все ясно!» Я говорю: «Так это один, а если бы все...» Он махнул рукой со словами: «С Вами греха наберешься...»

Да, в Абези было много видных людей, также и в других лагерях, например, Дивнич Евгений Иванович, о котором упоминает А. Солженицын, это тоже мой задушевный друг, Прахов из Киева, знаменитый искусствовед и историк, Лев Платонович Карсавин, Розанов и многие другие, имена которых изгладились многими десятками лет. На севере мне пришлось встретиться с Александром Виссарионовичем Некрасовым, работавшим в Пулковской обсерватории вычислителем астрономических расстояний между планетами. В возрасте 85 лет имел феноменальную память: из Библии знал целые главы наизусть. Желая продолжить наше знакомство и на воле, он спросил мой адрес, я говорю: запишите; он говорит: я ничего не записываю, все, что попало в эту голову, там осталось навсегда. Через продолжительное время спрашиваю: как мой адрес? – Отвечает точно. Незаурядна личность профессора Чижевского (и художника), упоминаемого также Солженицыным в его главах «Архипелаг ГУЛАГ». Я даже рисовал с него портрет.

Вообще, за тринадцать лет моего заключения мне пришлось написать с натуры акварелью (да и маслом) до тысячи портретов. На законченный портрет уходило от 2-х до 3-х часов; приходилось иногда писать и по три портрета, не вставая с места. Одного пишу, а два ожидают, и как ты им откажешь, когда они отпросились у бригадира остаться в зоне для этой цели. Неудавшихся портретов не было в моей практике. Истину говорю, не лгу. И это при наличии в зоне 18 художников. Так что, портретов моей работы со временем может всплывать много... Причем, меня не держали долго в одном лагере; за 13 лет я прошел 26 этапов. И на каждом новом месте я продолжал свою работу. Меня знали многие лагеря понаслышке. Я еще за зоной, а меня уже приветствуют. Пишу это не для самовосхваления, а для того, чтоб доказать, что в любых условиях можно сохранить личность и оставаться человеком, не запятнать позорным пятном свою фамилию. Я сам пострадал: по отбытии одной десятки, мне дали другую, но я остался самим собой.

Милостию Божиею, я пережил всех тиранов-карателей, в лапах которых я находился. Начиная от Ягоды, после Ягоды Ежов, потом Берия – и того давно нет, далее Круглов, Абакумов, у всех я был в когтистых лапах, но все они давным-давно сгнили и память их погибла с шумом. А меня еще Господь милосердный держит Всемогущей Своей десницей. Вот как благонадежно быть с Господом. И как пагубно быть безбожником. В этом году впервые на Украине Верховным Советом разрешено праздновать Рождество Христово, Крещение Господне, а также Пасху, Троицу, Вознесение и Преображение Господне. Народ воспринял это с великой радостью; Киев был на Рождество неузнаваем. На улицах, в общественном транспорте, у парадных подъездов везде только и слышны приветствия – с праздником Рождества Христова! В квартирах слышатся колядки. Дети-школьники бегают по квартирам и, с разрешения хозяев, распевают колядки, наученные бабками.

Создается впечатление, что произошла какая-то духовная перемена в народе; переменились отношения человека к человеку, появилась истинная неподдельная любовь; в трамвае, автобусе охотно, с любовью уступают место старшим, помогают пожилым людям заходить и выходить из транспорта. Родители молодые рассказывают своим малым детям, что сегодня родился Бог... Ну, они, конечно, как умеют, так и говорят. И то слава

Богу! И это лучше, чем внушать маленьким детям «доброго дедушку Ленина», который совместно со своим товарищем по партии Сталиным расстрелял и умучил 110 миллионов лучших людей (отцов этих детей), и все для того, чтоб сделать им «счастливое детство»...

Но даже малые дети теперь уже знают, что это за «добрые дедушки Ленин со Сталиным и К$^{о}$». Завели головотяпы такую богатеющую страну, как Россия, в такую безвылазную трясину, что ей никогда не выбраться. Президент сеет в России «верную теорию марксизма-ленинизма», а урожай собирает (по крохам) во всем мире, и даже у побежденной Германии. Побежденная Германия подкармливает своего победителя. Позор, которого не знает ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! Я еще тогда говорил, что Германия героически проиграла, а СССР позорно выиграл, с большой натяжкой, с посторонней помощью союзников, и за эту победу мы никогда вовеки не расплатимся. Внешний долг будет постоянно увеличиваться. Прошло 20 лет, мы плотим 20 млн. рублей, они принимают и говорят – это уплочены проценты, а долг увеличился... И так будет увеличиваться, как на шахматной доске.

Партия и партократия будет обогащаться за счет народного труда, а народ будет страдать и страдать в ожидании будущего коммунистического рая, который так и останется будущим, и никогда не станет настоящим. Кто поверил обманщикам и насильникам единожды, тот попал в капкан навсегда. В таком капкане «коммунизма» и находится наша несчастная страна. И избавить от этой ловушки-капкана может лишь Единый Всемогущий Бог, если исстрадавшийся народ обратится к Нему с молитвой и покаянием, с крепким воплем: «Помилуй нас, Боже, помилуй по великой Твоей милости!» Не покаются - все погибнут от огня.

Первое беззаконие было уничтожено водой (Всемирный потоп), а последнее блюдется на день огня. Так говорит Слово Божие. Св. Иоанн Кронштадский говорит: «Когда подземный огонь сравнится с водной стихией, непрестанно убывающей, тогда огонь выйдет из земли и будет огненный потоп».

Незнание не дает права на отрицание, а неверие не избавляет от наказания. Господь сказал: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут, дондеже вся сбудутся!» Есть над чем задуматься...

Мы видим, к чему привело безбожие и богоборчество... К вырождению человечества, к разрушению личности, к одичанию, к оскотинению, и даже того хуже – к озверению. Это в нравственном отношении... В экономическом отношении наша бывшая Россия стояла на втором месте в мире, а теперь аж на 57-м, так что нам приходится догонять не Америку, а Африку, и то не догнать. Но теория «верная»!

Алеша подает добрые надежды. Следи, чтобы он наполнял свой ум познаниями только полезными, а не без разбора. История человечества немыслима без знания Библии. Библия – это история и начало истории. Поэтому надо начинать с самого начала, а иначе получится «Краткий курс истории КПСС», псевдо-истории, которая чуть ли не каждый день нуждается в переделке: что-то выкинуть, что-то изменить и т.д.

В отношении выбора Светланы, такой выбор мне не нравится. Эта специальность очень ответственна перед Богом. Уродовать невинные души детей превратным учением, внушать им безбожие, палачей народных именовать «добрыми дедушками» – это хуже разбоя, это душегубство. Господь сказал: «Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы повесить камень на шею и потопить в пучине морской». А тут не одного, а целые группы, и не один год, и не одно поколение. Кроме того, нищенская зарплата и постоянные общественные нагрузки – переписи, предвыборные кампании и т.д., и проч. Это труд неблагодарный.

Что тебе еще написать? Хлебородная Украина-житница мира посажена на голодный паек. КГБ и КПСС совместно все уничтожают, сотнями тонн закапывают в землю, не дают разгружать присланного в помощь голодающим, пока все не испортится, и потом закапывают. И виновного нет. Расследование этого преступления поручено КГБ. Все ясно... И поэтому поздравление новогоднее выражалось так: «Поздравляем вас с НОВЫМ

ГОЛОДОМ! Отвечают: и вас также! Я захожу в магазин 31-го, чтоб купить хлеба к встрече Нового года, а хлеба хоть бы грамм... вот тут-то мне и пришлось поздравить своего знакомого с Новым голодом, и он взаимно так же меня поздравил. Итак, бедный рыцарь мой, по уши обласканный кумой, поплелся без ужина домой... Прости!
P.S. Извини за долгое молчание. Были гости из Англии, мой верный друг, с которым нас судили в 1975 году. Его выслали за границу... Он живет в Англии. Я послал приглашение, и ему разрешили приехать. Он жил у меня неделю. Он владеет ин. языками. Побывал во многих странах мира.

**ПРОЗА**

# Люсия Ерош

# *Сам бег*

**Стертая графика тайной жизни**

Он долго прогуливал ее осенним вечером, не чувствуя холода, он хотел рассказать про себя все, сам отыскивая ответ – кто же он - потомок белой кости и голубой крови? городской повеса? холеный, ленивый барин? Или просто современный, образованный, стильный мужчина? И еще много-много личностей промелькнуло перед ее внутренним взором, туманные блики которых она уловила или не уловила. Она уже и не понимала, что же случилось и кто, собственно говоря, этот ниоткуда взявшийся человек, которому так безумно необходимо ее расположение. Она была заворожена им и холодом осеннего вечера.

Ее обжигала сама мысль о том, что прогулка подходит к концу, а он так жаждет продолжения. Нет, она не пригласила его в гости, он сам ввел ее в ее дом и остался там как хозяин. Он не обманул ее ожиданий: да, профи, талантливый человек талантлив во всем, но ей было неловко, стыдно: как будто ее раздели прилюдно, выставив напоказ сам остов ее, скелет. Не тело, а именно скелет. «Боже, он все разглядел!» Ему не понадобилось много времени, чтобы увидеть то, что она так тщательно скрывала, то, что в его присутствии стало бесстыже-крикливым – ее убогий быт. И то, что ранило сильнее всего – тщательно скрываемое гордым сердцем отсутствие любви.

Нет, в нем не было ни снисхождения, ни превосходства, но то, что он мгновенно, легко согласился делить с ней эту убогость, горчило более всего. Он был деликатен и предупредителен, но она вдруг поняла, почувствовала, что не дорога ему.

Она поздно возвращалась, устала и мало спала.

Встретил. Не один. Одет респектабельно-мрачно. Вороные волосы, жесткие глаза. Она не узнала его, внутренние сенсоры не отыскали его облик в ячейках эмоциональной памяти.

---

**Люсия Ерош родилась в 60-х годах прошлого столетия в местечке Парижская Коммуна на Волге, в семье моряка. Получила высшее гуманитарное образование, затем окончила школу психологии (специальность - нейролингвистическое программирование). Сфера ее профессиональных интересов - бизнес и финансы, медицинская наука, преподавательская деятельность. Научные разработки автора пользуются признанием специалистов.**

**Прозу и стихи пишет с детства. Это ее первая публикация в периодической печати.**

**Живет в Ярославле.**

© Люсия Ерош, 2004.

Она была в смятении. Ее показали... зачем? Теперь о ней знал третий.

Он был с ней ласков по-прежнему и она хотела его. Но это был другой день и другой мужчина. Ему нужно было прикоснуться к ней, но его не было с ней.

Она испугалась его хозяйского, острого взгляда – на нее, на ее маленькую независимую жизнь, ее с трудом выносимый быт. Она не хотела его присутствия в своем мире. И когда он ушел, ей стало спокойно. Все встало или улеглось на свои привычные места.

Но потом, утром, из ее глубин появилось, стало нарастать, подыматься что-то иное, то ли зов, то ли дрожь. Она не могла отыскать этому названия, таким глубинным и древним оно было. И оно делало только одно – толкало ее, толкало ему навстречу.

Он к чему-то готовился, или готовил ее. Он ничего не хотел, кроме одного – забыть и забыться. Он принимал решение, по-видимому, привычное для него, но сегодня оно его мучило. Ему необходимо было ободрение и одобрение. Да, он к чему-то ее готовил.

Волки. Стая. А он, ясное дело, одиночка. Тверд, очень тверд. Скорее всего, он все-таки готовился. Ни на минуту не выпуская ее руки из своей, он вел машину нервно, как-то по-волчьи злобно. Она вдруг поняла: он охотник и должен это делать, чтобы жить и быть с ней. Жизнь сделала его охотником, но и волком; она видела, что он ненавидит и то, и другое. Но кого же больше: охотника или волка? Или все то, что не оставило ему выбора?

...Где вы были, ребята? Змей, Клим и Хруст.
Смотрите кино, солдаты, в себе подавляя грусть,
О тех, кто уже не встанет и не подаст руки,
О тех, кто навеки остался у горной и быстрой реки.

Вьюга, вьюга, снег кругом.
Он заносит отчий дом,
Он занес луга и нивы,
Дерева, кресты, могилы.
Занесет он все вокруг.
Не печалься, милый друг,
Мы затопим с тобой печь,
Нам пораньше надо лечь.
Завтра будет НОВЫЙ ГОД.
Может, счастье принесет...

Она проснулась очень рано. Что-то заставляло ее просыпаться в пять утра в течение последних двенадцати дней – таково было время, проведенное ею вместе с ним. Все это время внутри нее, поднимаясь откуда-то с диафрагмы, выворачивая ее, возвышаясь над ней, опускаясь в нее, жило желание.

Она вслушивалась, она искала и, отыскав его зов, тянулась за ним.

Все ее существо стремилось только к одному – утолить это.

Она знала, что, утолив, забудется лишь на короткое время. Ранним утром оно вновь разбудит ее и будет жить в ней, с ней, будет ждать того, кто властно растворит и ее самое, и ее желание в хаосе небытия, в между есть и нет.

Он весь день рассказывает про себя, вернее, про нее, – про ту, с которой еще не расстался. Очень уязвлен, недоумевает: что же случилось в его жизни? Ведь он так любил, ценил, дарил, оберегал. И это все, оказывается, никому не было нужно, вернее, было нужно, и все больше и больше, и эта ненасытность, в сочетании с сытостью, обесценивали ценимое, оберегаемое, творимое им. И он уже не знал, как вернуть то состояние покоя и ленивой умиротворенности, к которому так привык.

Гармония души и тела, обретенная им в момент близости с ней, была нарушена той – так мощно нарушена, что он едва держался. Его звали назад, та еще не осознала, что он уходит. Устоит ли он? Она казалась себе случайностью в его жизни. И грусть, такая грусть навалилась на нее. Она жалела и себя, и его.

Но она знала, что хотела тепла его губ, рук, горячей тугой плоти, она хотела раствориться в ласке и неге на чистых простынях, рядом только с ним. Каждой клеточкой своей кожи она жаждала его, одновременно ощущая свою чуждость в его мире, чувствуя его благодарность за ее неожиданное тепло, слыша его беззвучную просьбу простить его – за то, что он все еще откликается на зов той.

Дрова в печи трещат,
В углу поет сверчок.
Тихо, уютно в доме,
Дверь заперта на замок.
Никто ко мне не заглянет,
Никто на огонь не придет.
Лишь собака залает
Да поезд вдали пройдет.
Тепло, покойно, уютно
Стало в доме моем,
Когда ты пришла рано утром,
Навеки оставшись в нем.
Давно мечтал о покое,
О тихом счастье вдвоем.
Казалось, лишь на погосте
Мы его обретем.
Но, может, еще получится
Здесь немного пожить.
Лишь бы так сильно не мучиться
И давнюю боль забыть.

Приоткрыв глаза, она поймала его вожделенно-настойчивый взгляд – и задохнулась. Он ждал, когда ее пальцы лягут рядом, и продолжал входить в нее, приковывая ее к себе негнущимся взглядом, входить, пока она не застонала. Их лица были серьезны и мир вокруг них был густ, они были вдвоем и одно, ничего не было между ними.

Они устали... Она ластилась к нему – ветерком, морской волной, пушистой кошкой. Он успокаивал ее, отдыхая, он был бесконечно родным и ей опять и опять хотелось сознаваться самой себе: она – его, только его.

Она разрешила себе принадлежать ему, и принадлежала, и это было так радостно и бесконечно нежно – принадлежать этому мужчине.

Он увез ее на прогулку в холодный вечер, он надел на нее платок, а сам всю дорогу вел машину одной рукой и все время целовал то ее пальцы, то ладонь.

Она скользила любящим взглядом по его профилю, отводила взгляд, натолкнувшись на ответный, и снова смотрела, опускаясь и возносясь, стояла пугливой девчонкой у кассы супермаркета, среди стольких взглядов, ждала шоколада и поцелуя, а потом, прильнув лицом к холодному стеклу, целовала и стекло, и свои пальцы, посылая ему, уезжающему в ночь, то, что переполняло ее и просилось наружу.

Гнедые, грузные, по зелени сырой
Весенней пажити, под буйными дубами
Они чуть двигались и мягкими губами
Вбирали сочные былинки, и зарей,
Вечернею зарей полнеба розовело.

Она без него, без него, без него – эта мысль заполняла ее всю.

И это ей не нравилось, этот ее скулеж. Этого нельзя было делать – так говорил ее внутренний голос и закон самосохранения. Не скули! Ты ни за что не покажешь ему свое отчаянье, ты независимая и сильная, ты увлекаешь за собой, ты – сам бег. Сам бег!

Он пришел к ней больной и сломленный, а стал сильным и жестким, трезвым и расчетливым, он обрел уверенность – и она знала, что это чувство дала ему она, только она. Она питала его своими соками, она лелеяла его душу и тело. И вот она получила результат – того мужчину, которого безумно хотела, и знала, почему. Она всегда хотела того, что ускользало, убегало, могло быть потеряно, становилось призрачным, того, что ей не принадлежало.

Она хотела сильного и независимого – и в который уже раз ударилась о жесткое спокойствие, неотделимое от силы. То, что она подарила ему, то, за чем он пришел к ней – покой, теперь мучило ее.

Она не отпускала его, она обвивала его ноги своими руками, но знала – это не поможет. Надо отпускать. Отпускаю залеченную птицу, – сказала она себе, – отпускаю сокола ясного, зализала сердечную рану и отпускаю. Но от чего я мучусь? Оттого, что он улетит? Но мой ли это сокол? Если мой, то он вернется.

Он не утешил ее и не стремился утешить.

Кажется, она заболевала. Ее душа плакала. Он был ей нужен сейчас, как никогда.

Но он бежал... бежал ее привязанности? Или какие-то обстоятельства заставляли его бежать?

Ей опять и опять становились нужны доказательства того, что он – ее, а она – его. Без этого не было покоя. Но главного доказательства – его желания обладать ею вопреки всему, вопреки разуму, вопреки времени, вопреки его ненасытной жадности, той жадности, с которой он прежде стремился к ней – всего этого уже не было, оно сменилось чем-то другим – спокойным, стабильным, дающим ему уверенность и покой. А ей?

Она страдала от потерь. Она думала, мучила мысли. Может быть, это не потери? Может быть, это основа, фундамент – этот покой его души. Тогда ее задача – сохранить это для них обоих. Она будет хранителем покоя его души.

Нагнувшись, она стелила постель. Он подошел к ней, его рука скользнула и стала искать то, что искала всегда, он гладил и целовал ее высокие ноги, она ответила – и желание вмиг охватило ее всю, словно пламя. Ему мешала ее одежда, он осторожно и бережно снял почти все – и вошел, умелый и властный. Настойчивый, снисходительно ласковый, он брал то, что было ее, но принадлежало ему, то, что насыщало его ненасытность. Она слабела, ее вытянутые вперед, напружиненные руки дрожали, а он входил и входил, требовал и брал, как должное, мощно забирал ее себе. О господин мой, – кричала она, поднимаясь из пучины и, наконец-то, навсегда ложась на волну.

Он уехал. Позвонил с дороги, назвал родной, поблагодарил за чудесный вечер, пригласил звонить, если она захочет, обещал позвонить сам. И вот снова вечер, и в его телефоне длинные гудки, а она тоскует, уже тоскует. И это пугает ее. Ее мир сузился в маленькую – но огромной мощности – точку, и точка эта наполнена разрушительной силой, направленной вовнутрь.

Возможно, он не вернется. Тогда надо будет просто жить.

Немного поддерживал ее его подарок, фигурка нэцке. Потрешь ее – и она наполнит твой заплечный мешок денежками. Но мне не нужны денежки, мне нужен ты. Тогда в мешочке буду я, сказал он.

Все-таки колечка он не оставил, а ведь она просила.

Все это время было непонятно, жила ли она. Наверное, жила. Ее внешняя жизнь, та жизнь, в которой она выполняла заведенное однажды и ставшее привычным, все это время была, продолжалась, – и она не просто жила этой внешней жизнью, а медленно, секунда за секундой, проживала ее, со всеми ее нюансами и тонкостями. Но за всем этим стояла потаенная, скрытая, как драгоценный конь, башкирский скакун, спрятанный подальше от воровских глаз, ее печаль, тихая печаль ее обиженного сердца. Она тосковала по нему – по тому, кто так надолго ее покинул, кто привязал ее к себе тонкой паутиной коротких звонков мобильного телефона. Чем короче были звонки, тем жестче он держал ее, ограничивая ее бег, лишая ее того, без чего она не могла жить.

Ее ум боролся с нею, пытаясь подчинить. Она знала, что так надо, надо для него и для нее. Но ее тело – каждая мышца! – жаждало бега, и каждое ее нервное волокно было готово взорваться и мгновенно превратиться в огненный шар чувства. Пока что они подчинялись ее воле, ее уму. И только сердце, ее бедное гордое сердце было оскорблено его отсутствием, и никакая логика не успокаивала его.

Силы оставляли ее. Она замерзала. Его не было рядом, а никого другого, кто отогрел бы ее, она не хотела и не пускала.

Ее душа была погружена в смятение и отчаяние. Ведь это были их дни, особенно суббота, когда он нежничал с нею с утра до глубокого вечера, чтобы расстаться лишь на воскресенье, – на тот день, в который он долго спал, валялся в постели, играл со своими собаками, забывая про всех и вся. Но даже и в воскресенье он все равно звонил ей вечером, лаская словами перед сном, баюкал и привязывал к себе на всю следующую неделю.

Теперь он не звонил. Она уже нарушила данный самой себе обет – не быть первой, она без конца набирала его номер телефона, хотя слышала одно и то же – недоступен, недоступен, недоступен. Ее тревога была столь велика, что ее начало тошнить. Она снова начала просыпаться в пять утра, как и в первую неделю их знакомства.

Их последний разговор закончился неприятно. Когда она поняла, что предстоящие праздники проведет одна, без него, и что он даже не просит у нее прощения за это ее одиночество, она ощутила мгновенный острый укол обиды и, не сказав ничего, в разговоре похладела к нему. Внутренний голос кричал ей в уши: «Зачем, зачем тогда он нарушает ее покой?» Она вдруг захотела забыть его и забыться, испив до конца чашу одиночества.

И вот судьба предоставила ей этот случай – он не звонил.

Вскоре ей стало ясно: судьба предоставила ей это для того, чтобы она поняла, как он дорог ей, как он дорожит ею. Затем она получила и доказательства: он вязал узелки звонков на паутинку между их сердцами каждый день.

Этот день был удивителен. В природе царила гармония, и эта благодать сошла и на нее. В конюшне, где она бывала дважды в неделю, ее конь и она впервые сошлись, сладились, зауважали друг друга. Когда она завела его в стойло и стала оглаживать, заглядывая в его мерцающие глаза, он впервые, – она точно знала, впервые, – рассмотрел ее как следует. И – доверился. Она ему понравилась, она это чувствовала, она это видела. Теперь она точно знала, что этот конь, которого она в свое время выбрала из многих, и в самом деле – совершенство. Даже кастрация не лишила его ни природной грации, ни мощи степного башкирского скакуна.

Она присела на корточки перед ним, он искал ее – наклоном головы, взглядом, большими мягкими губами. Он нюхал ее, он облизывал ее ладони, он тихо стоял, обвитый ее руками, а она молчала, твердя про себя: «мы с тобой одной крови – ты и я», и слезы текли из ее глаз.

Что-то единое и древнее проносилось в них обоих – простор и бег. Она дорожила его доверием, но и сама доверилась ему.

Теперь она знала: впереди их ждет совершенство. Совершенство движения, то есть того, для чего в этой жизни они оба были созданы.

Они были сам бег.

Она сиротела с каждым днем, прожитым без него, с каждым часом и каждым мгновением.

То, что было связано с ним, исчезало у нее на глазах, затиралось, теряло свое значение, каждый последующий день углублял эту пропасть. Она перестала перечитывать страницы их романа, в нем оставались только записи, сделанные ее рукой, а она знала их наизусть. Она замерзала.

Он позвонил ей поздним вечером и вернул в реальность – или ирреальность – он вновь обещал ей быть с ней в этом мире, каким бы тот ни был, с ней и для нее. Ей вновь захотелось верить ему. Он умел находить слова.

Но ей были нужны не его слова, а его руки. Руки и все остальное. Теперь уже не только ее сердце, но и ее тело было оскорблено тем, что он не стремился на самый главный зов на этой планете – зов женщины. Но она щадила и берегла его, она не позволяла себе звать его в полный голос, призывно и мощно, яростно и отчаянно.

Она жила вчерашним днем. Ее ежедневный вопрос, обращенный к нему, а может, и не вопрос, и не к нему, а к кому-то свыше и ее, и его, и их бытия, и их времени, этот вопрос – или вздох? или стон? на краткое время освободил ее от ожидания, того ожидания, что застыло вместе с ней на грани отчаяния.

За все время разлуки один только вчерашний день дал ей повод надеяться на его возвращение. Его голос вновь был тверд, она, как и тогда, в первые дни, почувствовала, что он принял, или вот-вот примет решение. Он готовился вернуться. Со вчерашнего дня она вновь становилась для него реальностью.

«Ты хоть ждешь меня?» – этот заданный им вопрос оказался самым важным для нее, она поняла, что он нуждается в ней. Музыка его слов успокоила и обласкала ее. Он нежил ее и тембром голоса, и смыслом сказанного, он касался словами ее тела. Он был искренен, он купал ее в тревоге своего вопроса, его нежность пенилась вокруг, закрывая горизонт, – а она в ответ мурлыкала что-то, и эта музыка умиротворила и ее, и его.

В ней проснулось ощущение его приближения: его планета входила в орбиту ее чувств.

Это ощущение охватило ее к ночи столь сильно, что она смогла услышать его зов. То, что ушло и спряталось на время их разлуки, то, что вновь начало будить ее в пять утра – это проснулось. Это был его зов. Начался отсчет обратного времени.

Она не смогла бы объяснить, как и чем, какой тонкой мембраной она ощущает его зов. Но она ощущала. Неверно было бы назвать это чувство глубинным – оно было самой ее сущностью, и она знала, знала наверняка, что его вызвал к жизни он, именно он, только он.

Она медленно скользила, она уходила все дальше и дальше, мягко ступая по теплой земле, оглядываясь, готовясь к бегу. Она оглядывалась, не видя его, не видя, но ощущая на себе его горящий, пристальный взгляд. Он не двигался с места и все же приковывал ее,

заставляя то и дело останавливаться, оглядываться назад. Он звал ее к себе, – этот, в общем-то, чужой, серый зверь, она была ему нужна – эта гордая и независимая, слишком независимая волчица. Готовый ко всему, он ждал ее ответа, они зашли уже далеко. И когда она остановилась, он выпрямился, как пружина, готовый бежать, мчаться, лететь ей навстречу, если хотя бы одна лапа ее оставит след, обращенный в его сторону.

Тела их остановились в напряженном предчувствии грядущего движения.

Как бы ты хотела встречать его? – спросила она себя. И сама же ответила: с букетом белых хризантем, меняя цветы каждый день.

У нее был всего один час беззаботного времени перед вечерней работой. Она ехала на оплачиваемый вызов и настроение у нее было неплохое, хотя ужасный гололед и автомобильные пробки вызывали у нее беспокойство.

Ее не были готовы принять тотчас. Она стала бродить по этажам близкого магазина, рассматривая витрины и вещи на вешалках и стеллажах. Вид красивых вещей успокаивал ее, а возможность примерить их примиряли с действительностью. Она позволила себе примерить кое-что.

Она вдруг заметила, что у нее изменились походка и взгляд. Об этом говорили и обманно-мимолетные взгляды мужчин, пришедших подобрать туалеты для своих дам, – они засматривались на нее, капризно выбирающую себе шляпку, неподдельно задумчивую перед своим отражением в зеркале. Сегодня она была королевой на своем вечере. Только сегодня.

Она кивнула охраннику при выходе и очень медленно пошла по тротуару. Длинные, элегантные автомобили мгновенно окружили ее, затененные стекла скрывали мужчин, следящих за ней, желающих ее, но все-таки она была рада: они плыли рядом с ней, рождая у нее ощущение сопровождения и защиты. А молодые хохочущие мужчины, идущие ей навстречу, заглядывали под ее капюшон с меховой оторочкой, приглашая к игре, обещая то, чего в ее жизни уже много лет и так уже было слишком много. «Девушка, купите пацана!» В другой раз она, может, и оскорбилась бы, но сегодня она была благодарна им – и за «девушку», и за «купите», и за «пацана». Ей стало даже весело. Если б они знали, чего ей не хватает.

Возвращаясь поздно вечером домой, она вновь ловила на себе эти взгляды, а дома, увидев себя в зеркале, вновь поразилась лишь недавно замеченной перемене. Миндальный глаз с темным глубоким зрачком. Напряженная, готовая к бегу бровь. Намагниченный взгляд.

Теперь она понимала их.

Она решила рассказать ему о себе все. Он выслушал, и его тревога, его шутливый наказ не баловать сверх меры и не потворствовать молодым открыли ей, что он вновь желал ее. Его признание не открыло бы ей столько. Она поняла: он хочет сполна восполнить ее пустоту и ее ожидание.

И с этим она снова начала жить.

Сегодня она не чувствует его. Он далеко, он прочно и основательно устраивается на новом месте. Она невольно упала духом: «Боже, так ты не приедешь совсем?» Он успокоил ее обещанием, но покой не пришел к ней.

Сегодня тоже покоя нет. Сроки его возвращения отодвинуты им еще на две недели. Надо жить без него. Она так хотела ему сказать, что каждый вечер застилает постель и зажигает свечу для двоих. Но не сказала.

Теперь время против нее, она не знает его уже дольше, чем знала близость с ним. А он? Если он осознает, что тоже перешел эту черту, не станет ли сила его тяготения к ней слабеть?

Как стремительно летит жизнь без него. Она с ужасом узнала, что он не приедет долго.

В последний раз разочаровалась. А ей так была нужна его защита, его надежное плечо на предстоящую неделю, неделю, потребовавшую от нее совершенства. Увы.

Нет, она не должна винить его. Ее жизнь – только ее. И ей надо остаться собой.

Когда он звонит, она замирает внутренне, она слушает его голос и впитывает сказанное им. Каждый раз он говорит ей что-то особенное, отличное от сказанного прежде. По смыслу сказанного она догадывается, что он каждый раз готовится к звонку, что каждый короткий разговор продуман им досконально.

Она обожает его снисходительный тон, мягкий, бархатный тембр его голоса. Она жалуется ему на усталость и хандру, на нежелание работать. «А что ты хочешь?» – этот бархатный вопрос застает ее врасплох и заставляет покраснеть, – за тысячи километров он видит это. Она тихо ужасается своей способности быть подвластной ему, – но все же находит в себе силы пококетничать. «Это секрет». Они хорошо понимают друг друга.

Он обещает все восполнить. Она кладет телефонную трубку на рычаг и оглядывает себя – всю встрепенувшуюся, ожидающую, зовущую.

Она гибко выгнула спину, призывно потянулась, легла. Потом начала кататься по траве, потягиваться, тереться мордой. Потом села и, повернув голову в ту сторону, где был он, стала всматриваться в него через километры расстояния, надеясь разглядеть его горящий взгляд, обращенный в ее сторону.

Время стремительно несло их навстречу друг другу.

Она опять рано проснулась, в четыре или в пять – и ощутила зов. Правда, теперь она не смогла бы сказать, кто именно зовет ее. Она лежала с закрытыми глазами, встревоженная и недоумевающая: его зова она не чувствовала уже давно, с того времени, как он уехал. Даже его возвращение не успокоило ее. Она была одна.

Она оскалила пасть, показала клыки. Он подходил к ней, – настороженной, готовой зарычать, – он нес с собой запах того, по кому она тосковала, кого она чувствовала за тысячи километров. Она закрыла глаза и распласталась на траве, ее ноздри вдыхали его запах – чужой, настойчивый, ломающий ее волю, неумолимый.

Его руки раздели ее. Она смотрела на него миндальным взглядом. Он опустил голову на передние лапы, он оскаливал клыки и тихо рычал, хмельной от переполнявших его чувств, готовый разорвать ее, но не спешивший сделать ни одного движения, словно опасаясь спугнуть ее. Он ждал ее подчинения. И когда она замерла, повернулась на живот и поползла прочь, кося на него миндальным глазом, он понял, что пришло его время.

Он раздел ее, посадил к себе на колени и одновременно вошел, его жесткие нежные пальцы мгновенно вздыбили ее соски и опустились вниз, он взял ее пальцы в свои и стал ласкать ее там, где уже давно должен был быть – весь, не только пальцы. Волчица завыла, подступившая нежность мгновенно разлилась по всему ее телу, наполнив его до краев. Он лизал ее лапы и недоуменно ждал, пока она откроет глаза и увидит его. Ему уже было

пора. Его уже звала и требовала к себе другая, такая мужская жизнь. Он уже уходил, оглядываясь, унося в памяти ее запах и взгляд, унося их с собой за тысячи километров – тот запах и тот взгляд, которые он мог безошибочно различить и через тысячу лет, к которым всегда мог вернуться.

Он уходил, торопясь, а она, недоумевая, зачем так стремительно это расставание, внезапно поняла, как когда-то, тысячу лет назад, что не дорога ему. Он еще хотел ее тела, но душа ее и ее сердце ему были не нужны. Он уходил и не звал ее с собой.

Она закрыла глаза.

Она лежала на траве счастья в последний раз. Инстинктом, нюхом, каждой клеточкой своего тела она понимала, что этот большой серый зверь, который делал ее счастливой, последний раз поднимался над ней. Ее взгляд нашел его бездонные, холодно отрешенные глаза, еще миг назад полные жаркой влаги – и споткнулся.

Она любила его настолько, насколько можно было назвать это любовью – это, ставшее сущностью ее жизни, ненасытное желание искать его запах среди мириадов других, желание найти его и вести за собой – напряженного, ищущего ее взгляда, ждущего ее движения. Она манила его все дальше и дальше, в потаенное место, где они могли бы долго быть вместе, где он лизал бы ее лапы и течь, терпеливо ожидая, пока она отдохнет и восстановит свои силы. Но он оставался на месте.

Она знала, что он уйдет, как и в прошлый раз – с отсутствием обязательства вернуться. Но прежде он все-таки возвращался. А теперь она чувствовала, что ее зов перестал быть для него властным.

Она заплакала.

**ПОЭЗИЯ**

# Александр Кочкин

## *Тыловики*

*из поэмы «Ветеранские грядки»*

Судьбы моей
Крутые перепады!
С лихвой хватало
и добра, и зла...

Картошка, лук...
Опять копаю гряды.
Жить как-то надо,
пенсия мала.

Что делать...
Так
распорядилось время:
подмяла детство
долгая война.
В годину лиха
прорастало семя,
где не зачахло -
вышла кривизна.

Забыв о том,
что мы - всего лишь дети,
растили хлеб,
шли на лесоповал.

---

**Александр Сергеевич Кочкин родился в 1929 году в деревне Лешкино Пошехонского района Ярославской области. Окончил семь классов школы рабочей молодежи, а затем Тихменевский лесной техникум. С подросткового возраста сотрудничал с районной прессой, с 1970 года до выхода на пенсию (и еще пять лет после этого) работал собственным корреспондентом ярославской областной газеты «Северный рабочий».**

**Газетные статьи автора часто перерастали в полноценные публицистические материалы, публиковавшиеся в общесоюзной журнальной периодике. Очерк «Узоры льна», опубликованный в журнале «Наш современник», получил обширную почту, обсуждался среди льноводов. Шли отклики и на очерк «Суть крестьянская», опубликованный в журнале «Волга». Публицистика А.Кочкина приходила к читателю со страниц многих других журналов, коллективных сборников и альманахов, выходила в свет отдельными изданиями.**

**Автор нескольких поэтических сборников («Кештомские строки», «Поляны», «Ветка рябины», «Русь моя - боль моя» и др.), Александр Сергеевич и ныне не опускает пера. Предлагаемые вниманию читателя «Тыловики» являются фрагментом поэмы «Ветеранские грядки», изданной в Рыбинске отдельной книжкой.**

**Живет в Рыбинске.**

© Александр Кочкин, 2004.

Казалось нам:
таких и нет на свете,
кто не страдал бы,
не голодовал.
В колхозе, помню,
дали отмолотки.
Пекли
с колоколиной колобки.
Я пальцем
выковыривал из глотки
те
труднопроходимые
куски.
Но мама ела
и сестренка ела,
стряпнею занимаясь поутру.
Вот кошка почему-то
околела,
ей та еда
пришлась не по нутру.

Но все равно
мы чуть ли не плясали,
рождалось чувство,
радости сродни.
Отец на фронте
понимал едва ли,
что это значит:
хлеб на трудодни...
Ну и пускай!
Про нашу боль и беды
зачем им знать там,
на передовой?
Росло
предощущение победы
и подкреплялось
почтой полевой.

Да, отступали...
Но подспудно сила
росла и крепла -
и угрюмел враг.
Ведь выходила
доблестно
Россия
и прежде
из подобных передряг.

Иного
не предвиделось исхода,
за все захватчик
получил сполна.
И за здоровье
русского народа
суровый вождь
поднял бокал вина.

В родимый дом
пришел солдат-калека -
и стал надолго
гордостью села...
А наша жертва
в лихолетье века
ужели
меньше значимой
была?
Но так уж получилось:
слава, взреяв,
нас не нашла
на горькой крутизне.
И в череде победных юбилеев
тыловики
остались в стороне.

Вновь память,
словно пепел папироски,
слезит глаза...
А кто тыловики?
Теперь-то это ясно:
мы, подростки
военных лет,
а ныне - старики.
Я не умею
опьяняться лестью,
скажу, как мыслю,
просто, без прикрас:
беда не в том,
что обошли нас честью,
а в том,
что экономили на нас!

И ныне помню:
дама из собеса,
надув, как щеки,
свой авторитет,
глядела на меня
без интереса,
не признавая стаж
военных лет.
И зря я потрясал

своей медалью,
и зря я справки
новые волок...
Для дамы той
я был далекой далью,
с претензией,
похожей на подлог.
Я правил путь
печально и угрюмо
к себе домой
по пыльным чапыжам.
Она же -
в государственную думу,
на депутатство,
к новым рубежам...

Да, время нас,
признаться, обделило.
Но нравственная суть
не подвела!
Сумели мы,
пройдя через горнило,
не опустить
растущие крыла.
Естественно,
в семье не без изъяна -
не только в лад
звонят колокола.
Но все же
кровоточащая рана
не загноилась,
скоро зажила.
Знакомые с неправдой
с колыбели,
голодные птенцы,
птенцы войны,
мы в грубой скорлупе
не огрубели,
остались
патриотами страны.
Мы выжили
на жизненном морозе
и нас не тронул
нравственный излом.
Мы впахивали просто!
Кто - в колхозе,
А кто, как я -
за письменным столом.

И, слава Богу,
состоялся вроде,
как журналист,
и даже как поэт.
Не просто словом
брякал при народе,
а был на взлете
целых сорок лет.
А было трудно!
Шел через завалы,
что вечно
громоздили на пути
известного пошиба
запевалы...
Так было -
ни проехать,
ни пройти!
Я был чужак
из сельской глухомани,
из детства,
опаленного войной,
с наивными
стишатами в кармане,
застенчивый,
почти «непроходной».
Деревня
наложила отпечаток
на строчек
обомшелые углы...
Мои стихи!
Мой драгоценный взяток
впервые вылетающей
пчелы!

Мечталось мне:
внесу я лепту в соты,
свершу желанный
творческий виток.
Но не сумел я
взять свои высоты -
не допустили
трутни
на леток.
И даже в журналистике,
к которой,
привязан был я,
как слега - вожжой,
мне намекали,
что в среде матерой
я - непохожий,
дальний
и чужой...

Предвзятость ощущал я
даже кожей.
Но все равно
не очень унывал:
ведь это хорошо,
что непохожий,
что собственный
лелею идеал!
Ведь я не для себя!
Кому-то ж надо
сказать всю правду
о текущем дне!
...Ох, и поныне
эти запевалы
про жизнь и смерть
сказать мешают мне.
В тень ухожу.
Заветные листочки
оставлю для детей
и для внучат.
Не издан.
Не пришли к народу строчки,
те строчки,
что досель
кровоточат...

Выходят ветераны
на парады,
бряцая орденами.
Блеск наград!
А мы на сотки грешные -
и рады,
что можем там
устроить свой «парад».
Картошка, лук...
Земля еще богата.
И остается
только горевать,
что власти
сэкономили деньжата
на нашем поколении
опять.
Мы - ветераны,
но второго сорта,
иль третьего...
Такие вот дела.
Идем на сотки.
И не ради спорта -
жить как-то надо,
пенсия мала.
Хотя и тем,

кто первого -
несладко,
у них достаток
тоже ведь в обрез...
Для нас же, грешных,
за городом грядка -
не хобби,
а первейший интерес.
Куда деваться?
Власти не впервые
сумели нас
до боли огорчить -
отнять не постеснялись
«гробовые»
и ваучеры
неукам всучить.
Чуть пенсии прибавили -
и снова
все дорожает,
в ценах - кутерьма...
Но человек ведь -
Родины основа!
Иль это не доходит до ума?

Уходим в тень,
помалу вымираем.
Одни - уже,
другие - близок час.
Последние
пожитки собираем.
Авось, сгодится
что-то после нас.
Мы не умели
опьяняться лестью,
мы жили честно,
просто,
без прикрас.
Беда не в том,
что обошли нас честью,
а в том,
что экономили
на нас...

# Валентина Гусева

# *Через года аукнется былое*

* * *

Трава по пояс, хоть косой коси,
Колоколов погибельные звоны...
Я знаю: скоро избы на Руси
Цениться будут так же, как иконы.
Заросший волок еще помнит след
Сапожек детских, сшитых мне соседом.
Сапожек нет. Соседа тоже нет.
А дом мой есть... Но путь к нему неведом.
Судьба моя, обратно не зови!
Через года аукнется былое
Лишь искрой догорающей любви,
Воспоминаньем, смешанным с золою.

* * *

Ближе к полночи, одна
Выбегу тайком из дома.
На ветру шуршит солома,
В лунной проседи дома.
Луннолика, белогруда,
Буду ангелов сзывать.
Будет сердце замирать
От любви и жажды чуда.

---

**Валентина Павловна Гусева родилась в 1951 году в Вологодской области. В 1962 году переехала вместе с семьей в Пошехонский район Ярославской области, на родину матери. Окончила школу, затем Рыбинское дошкольное педагогическое училище; в 1978 году - филологический факультет Ярославского педагогического института. Работает учителем русского языка и литературы в сельской школе, сотрудничает с районной, областной и центральной прессой.**

**С 15 лет пишет стихи, публиковалась в местной периодике и коллективных сборниках. В 2004 году опубликовала в нашем журнале подборку стихотворений.**

**Живет в деревне Кладово Пошехонского района Ярославской области.**

© Валентина Гусева, 2004.

## ОДНА

И все мечты похоронила,
И рыжей глиной завалила -
И в дом пришла.
Кота увидела больного
И печь холодную...И снова
С ума сошла.

Опять письмо перечитала.
Потом легла под одеяло
И стала выть.
Лежала час, не сняв одежды,
Судьбу гневя вопросом грешным:
- Ну, как мне жить?

Потом посуду перемыла -
И словно все на миг забыла...
Потом с тоски
Мильон подруг наприглашала
И серебро поразменяла
На медяки.

Потом сама себя хвалила:
Врага какого победила!
Сильна!
Занозу вытащила - баста!
Никто мне белый свет не застит...
Одна!

## ЗАЛЕТНЫЕ КОНИ

Кивну уходящим гостям,
Отчаянье спрячу в ладони...
И вновь по холмистым полям
Помчатся залетные кони.

Промчатся, мелькнут в никуда
Посланцы бестрепетной воли.
И снова гудят провода
И сердце трепещет от боли.

Был рай. Был, какой-никакой,
Шалаш, где мы жили в законе...
Зачем вы смутили покой,
Шальные залетные кони?

**ПОЗДРАВЛЯЕМ!**

# *Во благо русской культуры*

**Немного найдется в наше время людей, добровольно взваливающих на себя крест служения русской культуре - и время непростое, и крест тяжек. А если еще при этом человек делает свое дело профессионально и талантливо, тем паче нет ему цены.**

**К таким людям в Ярославле без оговорок можно отнести А.М.Рутмана, который, начиная с 1994 года, регулярно выпускает в свет отлично изданные книги о ярославской истории, архитектуре, иконописи, - короче говоря, самую разную краеведческую литературу. В юбилейный для издательства год главный редактор журнала «Русский путь на рубеже веков» Евгений Чеканов побеседовал с бессменным руководителем издательства Александра Рутмана.**

**- Все-таки любопытно, как это из физиков получаются издатели... Не откроете тайну, Александр Михайлович?**

- Да так и получаются! Есть аксиома: «Если какая-либо работа может быть выполнена, то физик справится с ней наилучшим образом...» Ну, а если серьезно, то я был типичным советским научным работником, уже «остепененным», с видами на докторскую. Работал в НПО «Техуглерод», занимался своим родным рентгеноструктурным анализом: это когда на исследуемый материал направляют рентгеновские лучи и по тому, как они рассеиваются, делают выводы об «устройстве» этого материала, о порядке расположения в нем атомов. В свое время именно мои коллеги смогли расшифровать структуру ДНК, а сажа, которую мы изучали - право слово, еще более сложный и интересный объект! Но это было
в прошлой жизни, то бишь, до перестройки...

В 1991 году мы, пятеро кандидатов наук и аспирант, создали малое предприятие. Какое-то время побултыхались в рыночных волнах, а потом я оставил пост директора МП: давние любовь к книге и книжное собирательство «направили» меня на другой путь. Взялся за изучение основ полиграфии, за создание оригинал-макетов, потом стал разбираться в сортах бумаги...

**- Начинали вы, помнится, с публикации воспоминаний евреев-сионистов, сидевших во времена Сталина в тюрьмах и лагерях...**

- Совсем не с этого! Начал я с издания комплекта открыток о Толгском монастыре. Комплект этот мы сделали с прекрасным фотографом Сергеем Метелицей. Был каталог выставки художника Спартака Глушкова, выборные плакаты, началось сотрудничество с московским издательством «ЛИНКА-ПРЕСС», где я до сих пор служу заместителем директора по производству...

Что же касается сионистов, то тут давайте уточним. Я думаю, что трагедия еврейского народа в Холокосте вызывает у всех нормальных людей вполне понятные чувства. Этот «пепел Клааса» не знает национальных границ. То, что я - еврей, лишь обостряет эту боль: это были страдания моего народа, в рижском гетто погибли дедушка и бабушка моей мамы. В 1996 году я издал воспоминания Евы Ароновны Пальчиковой - Хедвы Фридбойм. Она была совсем малышкой и вряд ли о сионизме вообще что-либо знала. Но была еврейкой - и только за это прошла через ад гетто и потеряла там всех родных. Уцелела же она (как и Александр Михайлович Шиссель, автор второй книги) благодаря тому, что нацистская отрава не на всех действует. Обоих ребят спасали и русские, и чехи, и немцы. Но и преследовали еврейских детей и те, и другие. Не по крови разделяемся мы...

Я считаю, что, уговорив Еву и Сашу написать воспоминания о пережитом, сделал очень нужное дело.

В третьей книге, Моисея Фроймовича Финкельберга, тоже немало написано об ужасе преследований, но уже в нашем Архипелаге (замечу, что для меня Гитлер и Сталин отличаются больше по форме усов). Но эта книга не о ГУЛАГе и не о сионизме, идеи которого автор разделял в юности. Она - удивительный гимн спасительной силе любви, памятник жене, разделявшей все испытания... А что вы, кстати, думаете о сионистах, Евгений Феликсович, вы против них?

**- Смотря, во что конкретно этот сионизм выливается... Но их генеральная идея - возвращение евреев из рассеяния на землю обетованную - мне понятна и симпатична. Мне, русскому человеку по крови и русскому патриоту по убеждению, представляется крайне благотворным процесс национальной самоидентификации любого народа, в том числе еврейского, - лишь бы этот национализм был просвещенным, не опускался до пещерных форм. Патриот националиста всегда поймет!**

- Ну, уж нет! Патриот поймет патриота, но никогда - националиста! Дорог к храму много, и мне хотелось бы, чтобы все мы перестали агрессивно делить мир на «своих» и «чужих». Что-то я сомневаюсь, что национализм может не быть пещерным.

Я, конечно, щепетильно отношусь к «пятому пункту». Более того, по мере своих сил делал что-то для развития в Ярославской области упомянутого вами процесса «самоидентификации», в частности, принимал участие в учреждении еврейского культурного центра в Ярославле в 1993 году. Но на лавры Герцля и Жаботинского я совершенно не претендую, это - не мое. Видите ли, я родился и вырос в России и мне не просто близка и понятна русская культура - это *моя* культура. Еврей-то я *русский*, и именно поэтому я и занимаюсь все эти годы изданием книг о *нашей с вами* старине, о памятниках *нашей* истории и культуры. Почти тридцать лет назад я приехал в Ярославль, он стал мне родным, здесь я вырастил сыновей. Может быть, поэтому столь значимы для меня ярославские краеведческие изыскания...

**- Да, у читающих ярославцев на памяти изданные вами книги из серии «Граждане Ярославля»: о покровителе нашего города святом князе Федоре Черном, воспоминания Сергея Дмитриева и Владимира Орлова, Михаила Мейеровича. В прошлом году самобытной книгой Сергея Темняткина вы начали новую серию - «Земля Ярославская». Многие офисы города украшены изданными вами акварелями Ивана Белоногова с видами Ярославля середины XIX века. Только что вышел в свет объемистый том под названием «Церковь Ильи Пророка в Ярославле». Должен заметить, что, помимо высокого качества подготовки текстов, практически у всех ваших книг прекрасное художественное оформление, их просто приятно брать в руки...**

- К сожалению, не у всех! Иногда добытых денег еле-еле хватает - и тогда уж не до роскоши. Но если говорить об этой стороне дела, то тут мне очень повезло: над оформлением книг работают Михаил Бороздинский и Максим Руданов, в Ярославле

немного книжных дизайнеров такого уровня и вкуса. Нечасто встречается и такой уровень знания правил книжной верстки, как у Натальи Гуляевой. Безусловно, запоминается читателю книжная графика Елены Черновой и Игоря Сакурова.

Книга - одна из вершин человеческой культуры - просто обязана выглядеть достойно. В первую очередь, важно «единство формы и содержания»: необходимость соответствия оформления тексту книги, ее идее - обсуждению не подлежит. Но важно, чтобы в погоне за оригинальностью и современностью оформления не потерялась веками выработанная книжная традиция. Однако, спасибо за вашу оценку качества подготовки текстов: думаю, что в книгах это - главное. Поэтому и сотрудничаю с такими редакторами и корректорами, как Вера Михайловна Хирцова, Людмила Евгеньевна Новожилова, Татьяна Николаевна Спирина. Это - профессионалы!

Для научной редактуры я также приглашаю самых серьезных специалистов, и не только ярославских. Мы все - соратники, у нас есть такое хорошее качество, как упрямая добросовестность.

**- А сколько всего книг выпустило за эти годы ваше издательство?**

- Немного, пятьдесят с небольшим. Честно говоря, хотелось бы делать больше, и идей хватает. В первую очередь, меня ограничивают деньги: литературу-то делаю некоммерческую, а со спонсированием культуры, как известно, у нас всегда «напряженка». Кроме того, до позапрошлого года погоня за количеством, действительно, могла отрицательно влиять на качество. Теперь же со мной работает младший сын, Игорь, и мы выпустили за это время почти двадцать книг, причем к некоторым я практически не прикасался. Он, конечно, время от времени забывает, что я не отец, а начальник, но у вас у самого, Евгений Феликсович, старшая дочь пошла по вашим стопам - понимаете мою гордость?

Что это такое было - издательство Александра Рутмана? Это прежде был всего лишь я, предприниматель Александр Рутман, в собственном соку, да еще и без собственного юридического лица. Я и выдвигал проекты, я и деньги искал для каждого из них (у буржуев-то это отдельная профессия: фаундер), я курировал весь процесс издания... И швец, и жнец...

**- ...И на дуде игрец! Слава-то ведь тоже вся достается вам, Александр Михайлович. Разве не так?**

- Слава или деньги? Если говорить о деньгах, то моя личная работа почти над всеми книжками из серий «Граждане Ярославля» и «Земля Ярославская», рядом других брошюр - абсолютно (подчеркиваю - абсолютно!) безвозмездна. На издании остальных (а есть среди них, с точки зрения издателя, безумно трудоемкие, как, например, та же «Красная книга Ярославской области») мы, естественно, зарабатываем. Но это не торговля водкой, или «живым товаром», за это деньги брать не стыдно.

Не надо думать, что я такой уж бессеребреник, жить на что-то надо. Но, во-первых, у меня «прикрыт тыл» службой в столичном издательстве (там на счету нашей ярославской команды числится уже больше сотни книжек). Во-вторых, мне просто нравится делать книги! А за удовольствие полагается платить.

Наконец, скажу главное. Не буду лицемерить и восклицать: «Что слава! Яркая заплата на ветхом рубище...» Я очень честолюбив. Книги всегда переживают людей. Будет это и с изданными мною. На них стоит мое имя, фамилия моего отца, деда и пращуров. И это - здорово!

**- Уж не поэтому ли вы столь щепетильно относитесь к проблеме защиты авторских прав? Многие ярославцы помнят разразившийся несколько лет тому**

**назад скандал по поводу перепечатки в одной из газет фрагментов изданной вами книжки Дмитрия Полознева «Карабайки». Вы тогда стали поистине «героем дня», Александр Михайлович. Откройте тайну: что уж такого страшного было в самом факте перепечатки? Ну, опубликовала газета без согласования с вами несколько баек...**

- Да не было никакого скандала! Я тогда просто обозначил свою позицию. Вообще-то жалею, что так и не подал в суд. Дело ведь не в том, что газетчики не согласовали публикацию. Журналист посмел не просто самовольно редактировать тексты, но и названия баек менять. А фамилию художника - Евгения Снежко - акробаты пера даже не назвали, хотя картинки напечатали. Несанкционированная переработка произведений запрещена федеральным законом, право автора на имя неотъемлемо - наказывать надо было!..

А вспомните другой инцидент с авторскими правами. Мы с М. Бороздинским и С. Метелицей сделали постеры «Люблю наш город, верю в его будущее» - и после этого на улицах Ярославля началась, прям-таки, какая-то «плакатная эпидемия» любви к городу. Нет, все-таки зря я денег на адвоката пожалел...

**- Поговорим немного о тех ваших проектах, которые пока в работе, «в столе» или даже «в голове». Можете что-то рассказать об этом?**

- Вот-вот выйдет в свет очень серьезная книга о ярославской иконописи XVI-XVII веков - к шестидесятилетию со дня рождения Ирины Петровны Болотцевой мы совместно с Ярославским художественным музеем публикуем ее диссертацию.

Весной будущего года хотелось бы выпустить в свет воспоминания Екатерины Петровых-Чердынцевой, старшей сестры известной русской поэтессы Марии Петровых, которую любили Мандельштам и Лев Гумилев, чье творчество ценили Анна Ахматова и Арсений Тарковский. Право на публикацию отрывков, а точнее, извлечений из этих воспоминаний я с удовольствием передаю вашему журналу: помимо исторической ценности, мемуары Екатерины Сергеевны - это еще и хорошая русская проза.

Надеюсь, что еще до этого выйдет в свет, не будет преувеличением сказать, самое значительное из всех моих изданий. Речь идет о книге «Храмы и святыни Ярославля», написанной специалистом по истории наших церквей Т. А. Рутман. Да-да, моей женой Тамарой. Почти пять лет мы с ней работали над книгой. Больше тысячи архивных дел поднято, сотни книг и статей - впервые обо всех храмах города будет рассказано. И не об архивольтах, закомарах и лопатках (хотя и это важно), а о той роли, которую церкви и веками сберегавшиеся в них святыни играли в жизни нашего города, в судьбах ярославцев. В книге огромное число персонажей. Именно в ходе работы над ней я заразился неизлечимой болезнью: мне понравилось рыться в архивах.

Замечу, что это уже не первая «семейная» книга: еще в 1994 году Тамара написала летопись Толгской обители для комплекта открыток. А потом... у меня создается такое впечатление, что она ждала, когда я авторитет заработаю: для издательства «Нюанс» писала, для «Северного паломника», разных сборников. Известно, что отношения между автором и издателем бывают идиллическими только на презентациях книг. Так что начавшееся уже после серебряной свадьбы сотрудничество внесло в наш брак «новые краски». Теперь на каждую книгу мы заключаем авторский договор. И у каждого из нас свой экземпляр хранится!.. можете себе представить?

Вернемся, однако, к книге «Храмы и святыни Ярославля». По договору с мэрией, часть ее тиража поступит в каждую библиотеку, в каждую школу. Естественно, если все в порядке будет с финансированием. Я уж в подобных случаях и загадывать боюсь... Полтора года лежит без движения полностью готовый оригинал-макет книги «На электрической тяге» - о том, как развивался в Ярославле электротранспорт. Нет средств на

типографию! А книга интересная и симпатичная получилась - не зря мы несколько месяцев из фотофондов не вылезали.

И все-таки мне грех жаловаться на жизнь: многие идеи удается реализовывать. Вы упомянули «Церковь Ильи Пророка» - этот серьезнейший двухтомник появился благодаря губернатору. А недавно Анатолий Иванович Лисицын поддержал издание коллективной монографии об Успенском кафедральном соборе. Уже началась работа с авторами, архивные изыскания. Роль соборного храма в православном городе - особая; думаю, нашей команде удастся ее достойно раскрыть.

Есть и еще идеи...

**Молодому издателю Игорю Рутману есть, чему поучиться у отца.**

**- Действительно, планов - громадье. А если учесть, что каждый из названных вами проектов требует массу предварительного труда, то голова может кругом пойти... В качестве примера, Александр Михайлович: как вы «вышли» на воспоминания Екатерины Петровых? Какую работу пришлось провести для того, чтобы рукопись и фотографии из семейного архива Петровых-Чердынцевых попали в ваши руки?**

- Четыре года назад Ксения Викторовна Чердынцева прислала в нашу мэрию письмо с просьбой передать издателю Рутману предложение издать воспоминания ее мамы. Передали. Я прочитал, ахнул, начал искать деньги. Директор «Красного перевала» отказал, Норского кирпичного - тоже. Не понимаю я норских руководителей! Ведь мало о каком районе города такой материал есть! И еще сам в руки идет! Сергей Алексеевич Петровых почти тридцать лет на Норской мануфактуре проработал, там выросли его дети. В истории посада оставили след и священники Смирновы, и другие члены этой семьи. Да и семья мужа мемуаристки, Виктора Викторовича Чердынцева (а какой сам он интересный, неординарный человек!), тоже в норскую историю вплетена...

Осенью 2004 года вопрос с финансированием неожиданно решился без участия ярославцев (что, на мой взгляд, не делает нам чести). Взялись за работу. С Ксенией Викторовной сотрудничать очень приятно, мы уже практически решили с ней все вопросы по структуре будущей книги. Помимо собственно воспоминаний, в этом издании будут еще и очень интересные комментарии и приложения. Но их еще подготовить надо. С одной датировкой фотографий сколько работы!

И все-таки, если относиться к издательскому делу честно, то это не просто труд. Это, в самом прямом смысле этого слова - творчество. Именно поэтому я и занимаюсь этим делом, а не торгую водкой, или там нефтью.

**- Я думаю, что у вас и это дело пошло бы, с вашим-то напором. Что ж, остается пожелать вам успехов на избранном поприще. Еще раз: с юбилеем издательства, Александр Михайлович!**

**Записал Виктор ЖУКОВ.**

Екатерина
Петровых-Чердынцева

# *Маруся и все наши*

**Из книги «Мои воспоминания», готовящейся к публикации в ярославском издательстве Александра Рутмана**

Когда-то я прочла у Анны Андреевны Ахматовой о том, как надо писать воспоминания. «Если говорить о мемуарах вообще, то, по-моему, как-то неверно их пишут. Сплошным потоком. Последовательно. А память вовсе не идет так последовательно. Это неестественно. Время – прожектор. Оно выхватывает из тьмы памяти то один кусок, то другой. Так и надо писать. Так достоверней. Правды больше. А то ведь как выходит – надо по заданию себе писать связно, последовательно, а материал выпал, не помнится все в связи. И начинает человек сочинять недостающее, выдумывать. И правда уходит».

Мои детские и позднейшие воспоминания и яркие «куски, выхваченные из тьмы памяти», расположенные, по возможности, в хронологическом порядке, чтоб не сбить читателя, дадут, как мне кажется, представление об обстановке, в которой жила наша семья, о детстве и личности маленькой Маруси.

*Род Вилинских*

Все, кого я знала из поколения моей бабушки, были высокого роста, особой, выделявшей их статности, с правильными, красивыми чертами лица и, пожалуй, мажорностью. Все или почти все Вилинские обладали хорошими голосами и музыкальным слухом. По социальному положению это был старинный род священнослужителей, твердо державшихся обычая передачи места настоятеля церкви от отца к сыну, и так из поколенья в поколенье. Жили они в далеком селе Пошехонского уезда Ярославской губернии, название которого бесследно исчезло из моей памяти. Оно находилось в 25 километрах от полустанка железнодорожной линии Ярославль – Вологда. Это была глухая сторона, окруженная

---

**Екатерина Сергеевна Петровых, старшая сестра известной русской поэтессы Марии Петровых, родилась в 1903 году в Норском Посаде под Ярославлем в семье директора фабрики «Товарищество Норской мануфактуры». В 1924 г. уехала из Ярославля в Москву, где работала переводчицей в библиотеке иностранной литературы. В 1938 году вышла замуж за В.В.Чердынцева (1912–1971), ставшего впоследствии выдающимся советским геохимиком, доктором физико-математических наук.**

**Скончалась в 1998 году, похоронена на Введенском кладбище в Москве.**

**Предлагаемый читателю текст представляет собой извлечения из воспоминаний Е.С. Петровых, писавшихся ею начиная с конца 1970-х гг. и частично опубликованных в 1986 г. в Ереване, в сборнике «Черта горизонта». Сокращения и незначительная редакторская правка воспоминаний произведены редакцией нашего журнала с разрешения издателя и наследников автора.**

© Ксения Петровых-Чердынцева, 2004.

темными, преимущественно еловыми лесами, где водилось много зверья и дичи. Около редких селений – распаханные поля и луга для сенокоса и выпаса скотины.

Родителей моей бабушки (Екатерины Дмитриевны Смирновой, урожденной Вилинской) звали о. Дмитрий и Наталья. Знаю я о них очень немного, только то, что родились они в конце 20-х – начале 30-х годов XIX века, фамилия их – Вилинские – может быть, произошла от названия реки Вилинки Рязанской губернии. Прадед Дмитрий был священником, все его предки (м.б., не одно столетие) принадлежали к духовному сословию.

Несмотря на то, что чета Вилинских была совсем не богата, всем шестерым детям они дали образование. Старший сын – Иван, окончив семинарию, занял место своего отца, сын Дмитрий – учительский институт, что давало право преподавать в средних учебных заведениях. Дочери по окончанию епархиального училища в Ярославле повыходили замуж. В раннем детстве я видала всех братьев и сестер моей любимой бабушки, за исключением старшей – Фаины, очевидно, рано умершей.

*Екатерина Дмитриевна Смирнова, урожденная Вилинская*

На пожелтевшей от времени фотографии бабушка предстает высокой, очень статной женщиной с правильными, довольно крупными чертами лица, с большими глазами (они были у нее светло-карими). Наш брат Владимир был внешне очень похож на неё. Помню, как она, смеясь, рассказывала, как говорила ему, трехлетнему малышу, что когда он вырастет, у него будет такой же нос, как у нее. Тому это очень не нравилось, и он с кулачонками бросался на бабушку. Не любил он также, когда она говорила, что его мама – ее дочь. Но помню я бабушку уже сильно постаревшей и очень располневшей. На улице она ходила медленно, опираясь на палку, но по дому двигалась быстро и неутомимо. Одевалась во все темное и по моде конца XIX века, на голове носила, как и многие пожилые женщины, сооружение из кружев и лент, которые назывались «убором». Выходя на улицу, опоясывалась круглой, довольно толстой резинкой, называвшейся «пажом», при его помощи она подтягивала платье, чтобы оно не касалось земли.

Родилась она в 1847 году в глухом селе Пошехонского уезда. Десяти или одиннадцати лет ее отдали в Ярославское епархиальное училище, из которого она вышла через 7 лет, ни разу не побывав дома. Но, как это ни удивительно, пребывание в закрытом, очень строгом учебном заведении никак не отразилось на ее характере (чего нельзя сказать о нашей матери).

По выходе из училища бабушка вскоре влюбилась в красивого и стройного молодого человека, Александра Ивановича Смирнова. Увидев как-то в гостях у знакомых его фотографию (где он в штатском платье, с пышным бантом на шее стоит, опершись на балюстраду), тайком взяла ножницы и отхватила низ снимка с его штиблетами, спрятала на груди и по ночам целовала. Очевидно, и она ему нравилась, хотя его отговаривали от женитьбы на ней, считая «чахоточной» из-за ее худощавости. (По закону священник, овдовев, не имел права вторично вступать в брак). Но все же они поженились, и бабушка пережила мужа на 22 года.

У них было трое детей: сын Дмитрий, дочь Фаина (наша мама) и младший сын Иван, общий любимец.

Еще до рождения нашей матери бабушка взяла на воспитание маленькую девочку, круглую сироту, дальнюю родственницу, а вернее, свойственницу, Екатерину Алексеевну Кукобовскую. Та закончила с золотой медалью Ярославскую Екатерининскую гимназию на стипендию, так как отец у нее был чиновником-дворянином, и стала сельской (вернее, посадской, так как преподавала в школе Норского посада) учительницей, живя все время с бабушкой, которую звала тетушкой. Она была нашей любимой тетей Катей, доброй, умной, некрасивой (в ней чувствовалась финно-угорская наследственность), обладавшей большим чувством юмора и независимости, а кроме того, моей крестной матерью де-факто (де-юре – сестра нашего отца Екатерина Алексеевна Петровых). Мы с Марусей

очень ее любили и она отвечала нам неизменной любовью, т.к. ближе нас двоих у нее никого не было. После кончины бабушки она прожила еще лет 10 и умерла в полном одиночестве.

Несмотря на скромное общественное положение бабушки (она была вдовой посадского священника), в городе относились к ней с уважением, может быть, отчасти, из-за свекра, который оставил по себе долгую светлую память, а м.б, из-за того, что она была не совсем заурядной личностью. У нее был ясный ум, смелые суждения, бодрый нрав, знание русской литературы XIX века и истории. Ее высказывания (даже религиозные) отличались широтой. Приведу такой пример. Несколько лет подряд она сдавала половину своего дома под дачу состоятельному владельцу Ярославского кожевенного завода Гаркави, имевшему в Москве родственника-актера. Возможно, что это и был известный в свое время и любимый публикой конферансье, это его пародирует в своем «Необыкновенном концерте» Образцов. Однажды бабушку при мне спросили:

«Вам, наверное, не очень-то приятно сдавать дачу иноверцам?»

«Они прекрасные люди, а как они верят – это дело их совести», – отрезала бабушка.

И, вместе с тем, Маруся часто вспоминала, с каким детским ужасом она смотрела, как бабушка сжигала портрет Льва Толстого, яростно запихивая его кочергой в глубь горящей печки. Для нее он был не иноверец, а отступник от православия – веры своих отцов.

Жила бабушка неподалеку от нас, т.е. от фабрики – в Норском посаде, где у нее был собственный небольшой дом из трех комнат (и две еще в мезонине), с двумя кухнями, двумя террасами и множеством чуланчиков, кладовок, боковушек. В комнатах царила идеальная чистота. Везде – связанные ее руками, туго накрахмаленные салфеточки, сверкавшие белизной; на крашеном полу лежали всегда свежие дорожки-половики. В ее спальне, в углу – большой киот с темными от времени иконами, перед которым часто горела лампада. В кухне на окне – горшок жасмина с чудесно пахнущими цветами, которыми она перекладывала свое белье.

Если делить всех людей на сов и жаворонков, то бабушка, безусловно, принадлежала к последним. Вставала она рано, в 5-6 часов, после обязательной утренней молитвы садилась за ломберный стол (письменного у нее не было) и принималась за переписку с многочисленными родственниками, в первую очередь, с обожаемым сыном Иваном. Была у бабушки еще младшая сестра Елизавета Дмитриевна, с которой тоже шла оживленная переписка. Почерк у бабушки был мелкий, но очень четкий, с большими заглавными буквами.

Пенсия, на которую жила она, была мизерной, и покупать книги было для нее слишком большой роскошью. Поэтому она, кроме эпистолярных занятий, переписывала в толстую особую тетрадь понравившиеся ей стихи. Помню, как при мне она переписывала некрасовских «Русских женщин». Не от нее ли передалась к Марусе любовь к поэзии?

Без дела бабушка никогда не сидела. Покончив с письмами и хлопотами по хозяйству, она садилась в кресло и начинала вязать. А вязала она все, что угодно: чулки, варежки, перчатки, салфетки разного назначения, платки, полушалки, кружева (которыми тогда было принято обшивать концы полотенец), накидки на подушки, подзоры и даже целые покрывала. Умела она также вышивать и ковры. Для этого из картона вырезались «баранки», как я их называла, которые обшивались толстыми шерстяными нитками, затем нитки посредине кружка разрезались, и возникало нечто, похожее на цветочную клумбу. Такими «клумбами» расцвечивалось сукно, и получался казавшийся мне прелестным ковер.

Но самое удивительное для меня было то, что бабушка свое вязание сочетала с чтением, почти не отрывая глаз от книги. Читала она (кроме обязательных Библии, Евангелия и Четьих миней), главным образом, толстые тома-кирпичи «Вестника Европы». Наверное, там было много интересного для меня теперешней, судя по ссылкам, попадающимся в различной литературе. Но из всех толстых томов мне тогда нравились только мемуары М.А.Паткуль (урожденной маркизы Траверсе), придворной дамы,

прожившей более 90 лет: от Николая Павловича до Николая II. Это произведение сестра Леля (так дома называли мы старшую сестру Елену) очень метко назвала «сладкой манной кашей», до того оно было пресно и приторно, но мне в мои малые годы нравилось.

В те годы, когда у Маруси была няня Харитина Петровна, или почему-либо не было гувернантки, я часто гостила у бабушки дня по 2-3, что было для меня одним из самых больших удовольствий. Привозила меня к ней на лошадях мама, а обратно я обычно возвращалась с присланной за мной горничной. У бабушки, как и у мамы, были тогда маленькие спиртовки, в резервуар наливался из большой бутыли денатурат, который поджигался, и из отверстий вырывалось синее пламя. На нем Марусе варили кашку, а мне бабушка поджаривала куски черного хлеба, заливая их яйцом. Ничего вкуснее, по-моему, я с тех пор не едала.

По вечерам мы с бабушкой играли в карты – в бесконечные «пьяницы» или «акульки», но чаще раскладывали пасьянсы, к которым она приохотила меня на всю жизнь. «Вот смотри, душенька, этот называется «гончие», а этот, такой интересный – «дамский каприз»». Ни того, ни другого я так и не усвоила. Но «приезд ко двору», «Наполеона», «могилу Наполеона», «восход солнца», «косу», «косынку» помню и до сих пор.

В те далекие годы в верующих семьях дни рождений были менее значительным праздником, чем именины. Накануне (23 ноября по старому стилю) меня привозили к бабушке и, таким образом, в доме оказывались четыре именинницы, т.к. кухарка тоже была Екатериной. Вечером шли в церковь в пяти минутах ходьбы. Всенощная служилась в приделе, где стояла большая (во весь рост) икона великомученицы Екатерины в царском одеянии. Она обычно изображалась углубленной в книгу, а у ног всегда – большое колесо, символ ее мученической смерти. На другой день – опять в церковь, к обедне. А после нее начиналось пиршество, длившееся до ночи. Приходила вся норско-посадская интеллигенция – врачи, педагоги, духовенство. Всегда присутствовала наша мать. Меня задаривали подарками, впрочем, достаточно скромными, но я всему была рада. Приходила в гости девочка, тоже Катя, и мы с ней, забравшись под ломберный стол, занавешивали его какой-либо скатертью, отгораживаясь этим от взрослых, и с наслажденьем играли во вновь подаренные игрушки. Но почему-то этот день часто кончался для меня печально – я угорала. Сильнейшие головные боли, тошнота, рвота. Меня укладывали в бабушкину постель, в уши клали клюкву, которая вскоре сильно увеличивалась в объеме – это, как говорили, выходил из головы угарный газ. Прибегала озабоченная бабушка, уговаривала съесть что-либо, а я мотала головой и стонала. Забавно, что во все прочие дни я в этом доме не угорала. Обидно было на другой день, что я не пробовала ни вкуснейших пышных пирогов со всевозможными начинками, ни индейки, не сидела за столом со взрослыми.

Надо сказать, что папа недолюбливал мои поездки к бабушке, считая (видимо, не без основания), что она меня излишне балует.

Когда Маруся подросла, мы бывали у бабушки уже вместе. Но между сестренкой и бабушкой иногда вспыхивали конфликты – Маруся и в детские годы пыталась отстоять свои желания. До сих пор слышу голос бабушки: «Ну, Марья, погоди!» Впрочем, этим угроза и ограничивалась. Несмотря на ссоры, обе нежно любили друг друга.

Умерла бабушка внезапно (в октябре 1924 г.), не болея ни одного дня. Накануне все было, как обычно: утром – письмо к сыну, какие-то хозяйственные хлопоты, затем – в кресле с книгой и вязанием. Легла спать в обычное время, ни на что не жалуясь. А утром нашли ее в постели со спокойным лицом, уже похолодевшей. «Смерть праведника», – говорили люди. Я приехала на похороны из Москвы. Маруся с родителями еще доживала последний год на Автозаводе.

*Дмитрий Александрович Смирнов*

Это был старший сын бабушки. Он окончил Ярославскую духовную семинарию и после этого поступил в Московскую духовную академию. Главная пайщица Норской

мануфактуры, миллионерша Прасковья Герасимовна Прохорова предложила ему жить у них, в ее собственном доме на Воронцовом поле, но Дмитрий недолго пробыл у нее. Причин было несколько: семья Прохоровых была достаточно тонной, дочери говорили по-французски, за столом прислуживали лакеи в белых перчатках и т.п. Все это было слишком далеко от той сельской простоты, к которой он привык. Кроме того, в него влюбилась старшая дочь Прохоровых, Палагея Константиновна. О женитьбе не могло быть и речи (такой мезальянс!), а она ему, видимо, не очень нравилась, и он вернулся домой. Вскоре он совершил поступок, о котором, надо думать, не раз горько раскаивался в течение своей жизни. Ему приглянулась фабричная девчонка, певшая, как и он, в церковном хоре. Ее мать, понимая, что родители Дмитрия не дадут добровольного согласия на этот брак (опять какой мезальянс, но в другую сторону!) уговорила молодых тайно обвенчаться в Романово-Борисоглебске (после революции переименованном в город Тутаев).

Это событие, как громом, потрясло не только бедных родителей, но и всю округу. В то время, то есть, до революции, в полной мере существовало социальное неравенство, сословное и классовое разделение, особенно в провинции. Когда молодожены сошли с парохода, который привез их из Романова на пристань Норской фабрики, и направились в посад к его родителям, вокруг них сразу же образовалась огромная толпа любопытных, сопровождавшая их до самого дома, с жадностью ожидая, что же будет дальше. Молодые упали родителям в ноги. Те, заливаясь слезами, запрягли лошадь и поехали за 12 верст в Ярославль к родственникам и к дочери (нашей матери, которая находилась тогда в закрытом учебном заведении). Ее вызвали в приемную, где отец и мать, рыдая, стали рассказывать ей о постигшем их горе, чего наша мама по молодости лет (ей было 14 или 15 лет) никак не могла понять. Но и родители, и вся родня расценивали этот брак как несчастье и позор для всего клана.

Вся беда была в том, что это горе было непоправимым. Для них, глубоко верующих, брак был священным таинством, совершенным над молодой парой. Пришлось, собрав все душевные силы, простить молодоженов, опять бросившихся перед ними на колени. Супругам отвели две комнаты в мезонине.

На другой день, когда молодые спустились к утреннему чаю, бабушка с ужасом увидела ползущую по щеке молодухи вошь. Этого она не могла забыть до конца своих дней, но все же нашла в себе силы сказать: «Лиза, подойди к зеркалу, сними и выбрось эту гадость». То были одни из первых слов, обращенных к невестке. Надо сказать, что бабушка была до чрезвычайности чистоплотна, ее белье всегда благоухало жасмином, который она специально выращивала в горшках, стоящих на окнах.

Молодая была не только мала ростом, крайне тщедушна и некрасива, с лицом какого-то сероватого оттенка, но и неграмотна. Супруг начал обучать ее чтению и письму. Наверное, она была не без способностей, так как довольно быстро научилась тому и другому. (Последнее, впрочем, ей не слишком удавалось). Несколько ее эпистолярных образчиков хранится у Ариши (дочери М.С.Петровых), которая, не зная эпизода с насекомым, всегда говорила, что тетка Лизавета похожа на вошь. И это очень точное сравнение.

Но ее некрасивая внешность – это было полбеды, ее характер был чудовищен, и я об этом далее расскажу. Вскоре после заключения брака Дмитрий Александрович Смирнов, хотя и не чувствовал особенной склонности к церковному служению, исполнил волю родителей – стал священником. Может быть, тут сыграло роль то, что он им доставил огромное горе, женившись тайком на фабричной девчонке, и решил, таким образом, загладить вину перед ними. Много позднее он говорил нашей старшей сестре и братьям, что хотел бы стать врачом или агрономом.

По получении духовного сана иерея, т.е. священника, о. Дмитрий с женой отправились в село Тестово, неподалеку от Норского посада. А когда их отец Александр Иванович ушел из жизни, о. Дмитрий перешел на его место в Норский посад.

Вот тут-то все узнали, что представляет из себя его супруга. Пожалуй, я не встречала человека с подобным набором злобности, глубоким мещанством, завистливостью – особенно к своей золовке, нашей маме, к ее красоте, положению жены директора фабрики. Даже к тому, что у мамы было много детей (а тетка Лизавета, очевидно, была бесплодна. В конце концов, они взяли приемыша с примесью турецкой крови, которого назвали Дмитрием).

Елизавете Яковлевне (она же тетка Лизавета) доставляло огромное злорадное удовольствие устраивать у себя дома тайные свидания влюбленных, а затем разносить по Норскому, а потом по Ярославлю сплетни об их испорченности, то есть позорить молодых девушек. Она погубила в буквальном смысле слова одну девицу, очень красивую, с огромными голубыми глазами (но хромую), которая пела в церковном хоре. Тетке показалось, что супруг засматривается на девушку, и этого было достаточно, чтобы она путем всяких хитросплетений погубила репутацию скромной молодой особы.

Даже я, представьте себе, не избежала ее злобной клеветы. Вот как это произошло. Однажды летом я приехала в Ярославль, чтобы пломбировать свой первый зуб. В ожидании вечернего парохода зашла к Смирновым (о. Дмитрия к тому времени переместили к Крестовоздвиженской церкви). У них я застала какую-то малознакомую девушку, их сына и его товарища. Тетка предложила всем прогуляться по Волжской набережной в ожидании моего парохода. А затем уговорила зайти на «поплавок» выпить лимонада. День был очень жаркий.

В центре «поплавка» был овальный зал, вокруг него, в «бельэтаже» – маленькие, вроде железнодорожного купе, клетушки без дверей. Мы расположились в одной из них, заказали лимонад, молодые люди – по кружке пива. Вскоре настало время отхода моего парохода, и вся компания проводила меня до пристани. Вот и весь эпизод, о котором я, конечно, рассказала сразу же дома. Но его было достаточно, чтобы тетка, перебегая из дома в дом по своим многочисленным ярославским знакомым, с наслаждением рассказывала: «Катенька Петровых-то какова! С таких-то лет да по отдельным кабинетам с молодыми людьми!..» Конечно, все это стало известно и бабушке, и моим родителям. Помню, я, узнав об этой сплетне, горько плакала. Рассказала же этот незначительный случай, чтобы вы могли представить себе низкую натуру нашей «родственницы», которую подарил нам о. Дмитрий.

Но жизнь его самого была неимоверно тяжелой. После революции его начали сажать. Сколько раз он сидел, точно не могу сказать, но не меньше трех, а может быть, и больше. Все считали, что во многом повинен отвратительный и несдержанный язык его супруги. Их приемный сын Дмитрий, хороший врач-гинеколог, очень любил отца и делал все возможное, чтобы облегчить его судьбу, купил ему маленький домик в глухом отдаленном месте, но и там его настиг очередной арест. Знаю, что о. Дмитрия пытали в тюрьме: клали на грудь широкую доску и колотили по ней молотом или изо всех сил топтали ногами. Умер он в заключении или ссылке, кажется, в Кокчетаве.

Сыну, уже вторично женатому, пришлось взять мать к себе (первый его брак с милой женщиной, которую я знала, разрушила тетка Лизавета, возненавидев невестку). Дмитрий работал тогда в г. Нерехте, с ним вместе жили родители его второй жены. Кончилось это совместное проживание тем, что Елизавета Яковлевна плюнула в лицо своей сватье, у той сделался инфаркт. Пришлось Дмитрию снять матери отдельное помещение. Сколько же злобных, лживых сплетен было вылито на него и его семью... можно только догадываться. Вот какова была наша тетка Лизавета! И прожила она, кажется, до девяноста лет. Изредка приезжала в Москву, неизбежно останавливалась у Маруси, которая расценивала этот визит, как «божеское наказание».

*Иван Александрович Смирнов*

В семейном альбоме помещена пожелтевшая фотография бабушкиной семьи. На переднем плане стоит десятилетний мальчик – это и есть дядя Ваня, общий любимец. Его доброта, открытость, веселый нрав, благожелательное отношение ко всем, готовность придти на помощь каждому, кто в ней нуждался – вот основные качества его личности. Больше всего на него похожа лицом моя сестра Маруся. Он любил возиться с нами, как сверстник, бегал, прыгал через стулья, смешил бесконечными выдумками. Любил и поддразнивать, особенно сестру Лелю, которая страшно обижалась, когда он называл ее Аленкой.

Дядя Ваня учился на зооветеринарном факультете Юрьевского (теперь Тартусского) университета на казенный счет, как тогда говорили. За это он был должен отработать в Сибири какое-то время. Хорошо запомнились его проводы, бабушкины слезы. Сибирь представлялась всем краем, куда ссылали каторжников. Его поезд отправлялся со станции Урочь на левом берегу Волги (моста еще не было), от которой начинался «Великий Сибирский путь», как тогда говорили. Реку переезжали на маленьком пароходике, тащившем за собой огромный, тяжелый паром, сплошь заставленный запряженными экипажами, телегами со всяческим грузом. Простой люд тоже плыл на этом пароме, что стоило, по-видимому, дешевле.

Помню, как собирали дяде Ване посылку в Сибирь. Мне захотелось послать его сынишке маленькую уточку, но в последнюю минуту стало казаться, что ей там будет плохо, и я отменила свой подарок. Посыпались упреки в жадности, но это была именно жалость к утке, чего старшие не хотели или не умели понять. Уединившись ото всех, я целовала уточку, проливая слезы.

Вернувшись из Сибири, дядя Ваня подарил нам – Леле, Марусе и мне бусы из горного хрусталя, переливавшиеся цветами радуги. А своей сестре (нашей маме) – великолепную медвежью шкуру (она тоже запечатлена на одной из семейных фотографий), из которой в Ярославле сделали ковер. Приехавший из Могилева (где он работал после Сибири) дядя Ваня, глядя на свой подарок, начал неудержимо хохотать. Оказалось, что в мастерской медведю вставили рысьи глаза, что он, как ветеринар, сразу же распознал. Пришлось маме снова везти шкуру с Норской фабрики в Ярославль, где смущенные мастера переменили глаза на медвежьи.

Вскоре началась Первая мировая война. Дядю Ваню взяли в действующую армию, в кавалерию, как ветеринарного врача. Вскоре он, вырываясь из немецкого окружения (под ним пала лошадь), сильно надорвал сердце. Демобилизованный, он устроился заведующим конским заводом в Гаврилов посад Ивановской области, где разводилась «владимирская» порода лошадей-тяжеловозов. Несколько таких могучих красавцев наш папа купил для Норской фабрики. Хорошо их помню: темно-коричневой масти, с густой, черной, очень длинной гривой и огромными мохнатыми копытами. Казалось, любая тяжесть им нипочем. Легко везли они дровни с большими кубами голубовато-прозрачного волжского льда, который набивали в ледники.

Летом 1918 года наш отец, уйдя с фабрики, недолгое время жил у дяди Вани. Туда же приехал наш брат Николай и вместе с папой отправился в Москву. Осенью 1925 года, когда родители и Маруся уже жили во 2-ом Казачьем переулке, к ним приехал дядя Ваня. Я его давно не видела. Он сильно изменился: в глазах угас веселый блеск, исчезли шутки. Он погрузнел, погрустнел. Все же решил побаловать меня – сводить в театр. Мы пошли в Замоскворецкий театр, где-то в районе Серпуховской (теперь Добрынинской) площади. Смотрели спектакль Ал. Толстого «Заговор императрицы». Очень запомнился актер, игравший Распутина, которого с тех пор я только так и представляю себе. Хороша была и царица. Но бедному дяде Ване было трудно ходить: он то и дело останавливался, принимал нитроглицерин по дороге в театр и, особенно, обратно. Вскоре он уехал, а через год его не стало.

Из рассказов бабушки следовало, что в детстве Ваня был совершенно неуемным шалуном и проказником. Если старших мать привязывала ниточкой к стулу, и те сидели, не шелохнувшись, то на Ивана не действовали никакие, даже строгие меры. Тем не менее, он был любимцем бабушки, а став взрослым, относился к матери с большой заботой и нежностью.

У него были две дочери – Марина и Фаина. Обе жили в Ярославле. Мать их – Александра Михайловна Петровская, ее родители учительствовали на Норской фабрике.

*Фаина Александровна Петровых,*
*урожденная Смирнова, наша мать*

В потертом кожаном альбоме с металлическим узором на крышке сохранился оригинал фотографии нашей матери. Глядя на него, понимаешь, почему ярославские знакомые звали ее «Норской жемчужиной». Прекрасные, строгие черты лица, задумчивый взгляд вместе с ощущением чистоты...

Она, так же, как и ее мать, училась в епархиальном училище. Но, не в пример бабушке, человеку, самостоятельно мыслящему, мама, помимо большой религиозности, впитала от своих классных дам (всегда старых дев) нравственные взгляды, сочетавшиеся, м.б., с некоторой чопорностью, чрезмерной «прюдельностью» (от французского слова – prude).

Мама много читала. Помню в ее руках сочинения Белинского, Герцена, газету «Русские ведомости». В ней была какая-то отстраненность от жизни, хотя она была матерью пятерых детей и должна была вести большое хозяйство. Но оно, раз налаженное (вероятно, с помощью бабушки), катилось по своим рельсам, тем более, что имелся достаточный штат прислуги.

Помимо естественной любви детей к матери, может быть, эта отрешенность в сочетании с красотой так привлекали нас к ней. Обе мы, Маруся и я, по вышедшему из употребления слову, обожали ее. Но она всегда пресекала чрезмерные проявления наших восторгов.

Маруся писала и посвящала ей свои детские стихи, из которых приведу несколько запомнившихся. Вот одно, совсем раннее, подаренное маме в день ее рождения:

Сегодня день Первого Марта,
Первый день чистой Весны.
И в этот день, светлый и милый,
Родилась прекрасная – ты!

И еще одно:

Когда сидишь ты на балконе,
Когда мечтаешь ты одна,
Когда на бледном небосклоне
Уж появляется луна,
Когда и песни соловьиной
Придет прекрасная пора,
Тогда возьми аккорд ты дивный
На лире, милая моя.
И звуки чудные польются,
Сольются с песней соловья,
Когда сидишь ты на балконе,
Когда мечтаешь ты одна.

И всего лишь три строчки стихотворения, навеянного, по-видимому, упомянутым портретом.

Ты предо мною, моя ненаглядная,
В белый закутана шелк
.....
Сердце мое – осколок.

Бывали также и юмористические стихи.

– Можно ль к Вам поближе встать,
Ручку Вам поцеловать?
– Нет!
– Можно ль на пороге встать,
Поцелуи посылать?
– Нет!!
– Можно ли за дверью встать,
Горько-горько там рыдать?
– Нет!!!

И еще веселая песенка:

Мамуленька, мамуленька, мамуленька моя!
Кабы крылышки белые – ангелом бы была.

По утрам мама выходила в столовую в капоте (халатом называли больше мужское одеяние), летом – в юбке с кружевами и пеньюаре. В остальные часы дня она одевалась по моде курсисток конца прошлого века (что нравилось отцу): английская юбка, обычно светло-серая и белая блузка, часто с галстуком и широкий пояс с пряжкой.

Мама вела уединенный образ жизни и выезжала крайне редко. Платья при этом были двух назначений. Строгие, визитные – одно из серебристого темно-серого бархата и другое – темно-красное с бесчисленным количеством мельчайших складочек, отделанное бархатом того же цвета. Для парадных выездов помню три ее туалета: один из золотистого шелкового репса с черной вуалевой туникой, другой – белый с настоящими брюссельскими кружевами. Особенно хороша она была в светло-сером платье, затканном серебристыми цветами; все – фасона «принцесс»: плотно облегающий лиф и длинная расширяющаяся книзу юбка с небольшим треном, с воротником а-ля Медичи, из которого на стройной шее так прелестно выглядывала ее головка. При виде ее, нарядно одетой, мы приходили в неистовый восторг и бурной пляской вокруг, не смея коснуться, чтобы не помять какую-либо складочку, выражали свое восхищение. Запомнилось прелестное сорти-де-баль: белое, отороченное белыми страусовыми перьями. У нее была античная фигура и держалась она особенно прямо. Поэт Галкин говорил позднее Марусе, что он узнает ее мать со спины.

Когда же фасоны изменились, мама, собираясь куда-то выехать, м.б., в Ярославль, в театр или к знакомым, вышла из своей комнаты в новом необычном для нас туалете, вместо платья «принцесс» одетая по новой моде: черная шелковая юбка-клеш до половины икры и черная прозрачная кофточка на кружевной подкладке с баской, обшитая узкой черной бархоткой. На ногах – новые, тупоносые темно-серые замшевые туфли, отделанные лаком. Это была как бы и не мама. Вместо восторженных криков и неистовой пляски вокруг, мы стояли пораженные. Маруся чуть не плакала, повторяя без конца: «В прежних платьях мама так была похожа на принцессу, так похожа!»

А сейчас перейдем к истории рода моего отца.

*Род Петровых*

Еще и еще раз приходится пожалеть об утрате перечня имен нашего рода, продиктованного мне отцом в середине 30-х годов. (В нем было, насколько я помню, около 8 имен). Он тогда же рассказал мне семейное предание о возникновении нашей родовой фамилии. Ранее это же я слышала в Норском от тетушек во времена моего детства: что Преобразователь дал нашим предкам свое имя за искусное изготовление железной оснастки для парусных кораблей.

Наши предки происходили из города Устюжны – древнего маленького городка, затерявшегося среди лесов и озер чудесного русского Севера. Он стоит на реке Мологе при самом впадении в нее реки Ижины, отсюда и название города: Устьижина – Устьужна – Устюжна. Городок этот в наши дни почти никому не известен и трудно представить сейчас, что корни его уходят в доисторическую глубь веков, и что позднее он играл некоторую роль в жизни Московского государства. В течение многих столетий устюженские умельцы, передавая накопленный опыт из поколения в поколенье, совершенствовали свои изделия. И вряд ли будет натяжкой предположить, что один из 70 кузнецов, ковавших оружие для Грозного царя, был предок тех мастеров, искусство которых так высоко было оценено через 130 лет.

Это было время (1700-1702 гг.) начала Северной войны, когда Петр I усиленно готовился к овладению устьем Невы и островом Котлин. Чтобы добыть этот, столь желанный, первый выход к Балтийскому морю, был необходим флот. На созданной Олонецкой верфи (Лодейное поле), а позднее в Петербурге день и ночь строили новые и новые суда. А якоря, цепи, форштевни, гвозди изготовлялись в Устюжне. Можно думать, что мастера выполняли царские заказы, не жалея сил.

В это время (как гласит семейное сказание) три брата-устюжанина, имевшие общую кузню, повезли в строившуюся столицу свои изделия. Случайно или нет, они попались на глаза царю Петру. Тот осмотрел работу и, похвалив ее, спросил, как их зовут. «Меня Иваном, того Фролом, а меньшого Семеном, – ответил старший, – а фамилии у нас нету».

– Ну, так будьте вы Петровы (Петровы кузнецы)! – сказал царь и заказал выковать решетку для своего «огорода».

Можно представить себе, какими счастливыми и окрыленными возвращались братья домой, везя, как драгоценный дар, царское имя. (В то время, да и много позже фамилии были только у дворян да у именитого купечества). Вполне понятно, что царский дар стал нашим родовым именем, т.е. фамилией – иначе и быть не могло.

Благодаря тому, что имя царя было дано не одному человеку, а троим братьям, оно сразу приняло множественное число; присвоительной формой объясняется, как мне кажется, стремление подчеркнуть принадлежность родового имени к имени царя, и отвечавшего на вопрос – «чьи?» (а не сибирского – «чьих?»), а ударение в фамилии соскользнуло на последний слог.

Подтверждением этого является реальное существование в Устюжне трех ветвей Петровых:

1. Петровых-Лотонины (наша),
1. Петровых-Скребковы (?),
2. Петровых-Носырины (?).

Очевидно, второе название родов являлось отражением уличных прозвищ братьев.

Это семейное предание стойко держалось на протяжении более чем двух с половиной столетий, переходя из поколения в поколение, и дожило до наших дней.

*Алексей Семенович Петровых-Лотонин*

Предположительно во второй половине тридцатых годов XIX века наш прадед Семен Петровых-Лотонин женился на дворянской сироте, потомке старинного угасшего рода князей Сицких. Это была немолодая, болезненная девушка, страдавшая частыми головными болями (это я слышала от своего отца о его бабушке), очень религиозная. О ее

влиянии на последующие поколения среди ее внучек существовали две диаметрально противоположные точки зрения. Одни считали, что ее вырождающиеся гены (как сказали бы теперь) лишили многих потомков (разумеется, не всех) способности к практической деятельности, целеустремленности, энергии, мужества, а привили такие качества, как нерешительность, безволие, пассивность. Другие же утверждали, что она передала их семье интеллигентность, внесла склонность к возвышенному мышлению, интерес к литературе и искусствам (сама она, как рассказывал мне отец, рисовала акварелью). Эти внучки ценили также ее родовитость (ее происхождение по женской линии от одной из древнейших фамилий, восходящей к Рюриковичам – князей Сицких).

Насколько помню из разговоров старших, прадед и прабабушка умерли довольно рано, оставив двух сыновей. Это подтверждается также тем, что мы никогда не слышали от отца или тетушек рассказов о непосредственном общении с ними. Оба брата (Алексей Семенович и младший, Иван Семенович) обучались так же, как и отец, в частном пансионе в Петербурге. Почему-то запомнилась фамилия директора пансиона – Классен.

Вернувшись в Устюжну, они должны были продолжать дело фирмы. Отец не передал сыновьям ни одной черты своего характера – т.е. ни склонности к практической деятельности, ни предприимчивости. А весь душевный склад, религиозность, созерцательность, пассивность, доверчивость они целиком унаследовали от матери.

Около 1860 года Алексей Семенович женился на Марии Степановне Заводчиковой из богатой семьи промышленников. У них было несколько тысяч десятин леса и заливных лугов, несколько буксирных пароходов и довольно крупный металлургический завод в г. Череповце, изготовлявший в основном гвозди. Родиной их было с. Кондаша (тоже в Вологодской или Новгородской обл.). По Волге ходили принадлежавшие брату бабушки, Николаю Степановичу Заводчикову, три буксирных парохода («Брат», «Сирота», а название третьего выветрилось из памяти). К тому времени они были достаточно состоятельными людьми, давно имевшими потомственное почетное гражданство.

В 1863 году открылось железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Москвой. Это усилило конкуренцию по доставке товаров водным путем между поставщиками товаров в столицу, которую наш непрактичный и непредприимчивый дед не смог вести. Ему не под силу было бороться с опытными, энергичными конкурентами. Он плохо разбирался в коммерческих операциях, доверял на слово там, где следовало оформлять официальные документы и, в конце концов, запутался в долгах до такой степени, что был вынужден ликвидировать все свои дела, поставку товаров в Петербург, постройку судов и фаянсовый завод. Затем было продано недвижимое имущество – городские земли и дома. Хорошо помню рассказ нашей матери о прогулке по Устюжне со своей свекровью. Мария Степановна несколько раз останавливалась и со вздохом говорила: «Вот это был тоже наш дом... и этот участок был наш... и тот также принадлежал нам».

Продажей домов и городских участков разорение семьи не закончилось. Уже будучи студентом Петербургского политехнического института, наш отец был вынужден продать семейные бриллианты – бабушкино приданое – на солидную по тем временам сумму 25 тысяч рублей, так как в семье, кроме него, было еще шесть сестер, и всех надо было кормить, одевать, учить. И вся надежда была на единственного и способного сына. Сам он, как нам рассказывал, питался в студенческой столовой кониной, которая стоила на 2 копейки дешевле говядины. А когда денег совсем не было, он, как и другие, находившиеся в таком же положении, пристраивался к какому-нибудь товарищу, студенту, садился рядом за стол, как бы рассеянно брал с блюда большие куски бесплатного хлеба, мазал их горчицей и, таким образом, насыщался.

Что было бы с семьей, если бы отец не унаследовал от своего прадеда способностей и энергии – трудно сказать.

*Сергей Алексеевич Петровых, наш отец*

В семье наш отец был единственным сыном, поэтому был окружен с детства особым вниманием и заботой со стороны родителей и сестер. По его рассказам, в детстве его угнетала чрезмерная религиозность родителей, которые, желая привить ее детям, настаивали на посещении почти всех церковных служб (что было при отсутствии религиозного чувства почти наказанием). В субботу – обязательное посещение вечерни и всенощной; в воскресение – ранней обедни, от которой семья возвращалась домой к утреннему чаю с обязательным, только из печи, пышным пирогом с капустной, мясной или рыбной начинкой. А затем отец или мать полупросительно говорили: «Сереженька, ты бы сходил к поздней обедне». Не выполнить просьбу родителей было невозможно и Сергей нехотя брел в Казанский собор, где выстаивал и позднюю обедню.

По-видимому, такое принудительное посещение богослужений навсегда отвратило его от церкви.

Окончив институт, он получил место мастера на какой-то фабрике с 200-рублевым жалованием и сразу начал высылать ежемесячно, вплоть до 1918 года, деньги родителям. Через несколько лет, (уже на Норской фабрике) его жалование значительно увеличилось и он помог двум своим сестрам получить высшее образование. Младшая, Мария Алексеевна окончила Бестужевские курсы в Петербурге, которые тогда высоко котировались. А Серафима Алексеевна поступила на Высшие медицинские женские курсы. Вскоре начались студенческие волнения, курсы закрылись. Тогда С.А. при помощи отца уехала в Швейцарию, где закончила медицинское образование. У нас имелась фотография, где отец с сестрой стоят на берегу Женевского озера. По возвращении на родину ей пришлось держать дополнительные экзамены, чтобы получить звание врача, имеющего право практиковать в России.

В 1926 году папа со мной ездил в гости к тете Симе. Она заведовала небольшой сельской больницей в Смоленской области, была энергичным, умелым врачом. Тетя Маня жила при ней, вела хозяйство. Несмотря на полученное образование, она по своей чрезмерной застенчивости была не в состоянии заниматься педагогической работой и всю жизнь прожила при Серафиме Алексеевне.

Скажу уж, кстати, несколько слов о судьбе других сестер отца.

Старшая сестра Вера рано умерла от туберкулеза. Как рассказывал отец, она верила в целебные свойства Крыма и печально говорила: «Ах, если бы я поехала туда, я наверно выздоровела бы». Но материальное положение семьи не позволяло думать о поездке, так как это было время, когда отец ее был на грани разорения. Можно представить состояние родителей, брата и сестер при постигшем их на фоне разорения горе. Отец часто вспоминал Веру.

Моя крестная мать и тетушка, Екатерина Алексеевна Петровых, чтобы не быть в тягость родителям, стала вести хозяйство у «дядюшки» в Кондаше и Череповце, который обещал ей дать за это приданое. Но она так и не вышла замуж, а приехав в начале революции в Устюжну, умерла раньше матери и дядюшки.

Муж Надежды Алексеевны был купцом-оптовиком. У них было многочисленное потомство, кажется, 12 сыновей и дочерей. Но, как ни странно, никаких следов этой семьи я не могла отыскать в Устюжне. Знаю только, что одна из старших дочерей, Мария жила в Ленинграде до войны.

Зато нашу любимую тетю Сашу (Александру Алексеевну Каратаеву) и ее детей Зою и Бориса – их всегда называли вместе – помнят все мои устюженские сверстники, и даже более молодые, чем я. Муж тети Саши был крупным поставщиком зерна и муки из Рыбинска в Петербург, их семья была состоятельной. Им принадлежал дом, где теперь находится городской банк, в городской черте была еще дача с аллеей, увитой розами – это помним мы все. За столом у них прислуживал лакей, бульон подавался в специальных чашках. У Зои и Бориса были гувернантки-француженки, дорогие туалеты. У Бориса, кроме того, собственный экипаж, в который запрягалась породистая лошадь. По его

желанию тетя Саша завела первый в городе кинематограф. Словом, семья была очень заметной в маленькой Устюжне.

После смерти мужа тетя Саша пыталась продолжать его дело, но неуспешно. В 1928 году она с Борисом, его женой и внуком переехала в Ленинград. Умерла в середине тридцатых годов, а Борис погиб во время блокады. Зоя в свое время получила среднее образование в Петербургском институте – привилегированном закрытом учебном заведении. Далее о ее судьбе я ничего не помню, очевидно, она вышла замуж и сменила фамилию, так что след ее затерялся.

Но продолжу воспоминания о моем отце. Как и почему он выбрал Норскую фабрику, где и проработал более 30 лет, раскрывается из его ранней биографии. Еще с первых классов среднего учебного заведения у папы возникла дружба с Николаем Аркадьевичем Хрущевым, продолжавшаяся вплоть до трагической гибели последнего. А дружба их начиналась так (отец всегда добродушно описывал эту сцену). Он уже 2-3 недели посещал реальное училище в городе Череповце, куда его отвезли из Устюжны, где не было соответствующего учебного заведения. Он уже освоился и с классом, и с обстановкой. В один из дней появилась высокая, полная фигура инспектора училища, а рядом с ней, а точнее, прячась за нее, стояла нелепая фигурка мальчугана, насмерть перепуганного. Это был Коля Хрущев. Его недавно привезли из большого имения на северо-западе Новгородской области, где он прожил всю свою коротенькую жизнь, никуда не выезжая. Поэтому, когда его привезли в Череповец для помещения в реальное, он был перепуган и размерами города, (впрочем, конечно, небольшого), и домами (некоторые даже двухэтажные), а главное, количеством людей вокруг. Все это перепугало мальчугана и он не мог освободиться от страха. Инспектор довольно ласково подтолкнул его к парте, где одиноко сидел Сережа Петровых, и сказал: «Вот тебе товарищ, он тебя в обиду не даст, он мальчик такой, я его распознал». Сережа быстро взглянул на инспектора иронически и потеснился, чтобы дать место новому товарищу. Тот сел с тем же перепуганным видом. «Не бойся, я тебя в обиду не дам», – сказал Сережа, и это приободрило новичка.

Окончив вместе реальное училище в Череповце, оба друга поехали вместе в Петербург для продолжения образования. Папа поступил в Технологический институт, а Н.А.Х. в Военно-морское высшее училище. После окончания Технологического отец устроился вначале на работу на фабрику неподалеку от столицы, где проработал около года.

Дальше идут мои соображения насчет его перехода. По видимому, около этого времени друзья встретились вновь и Хрущев стал уговаривать отца перейти на работу на Норскую фабрику. Явных преимуществ было достаточно. Во-первых, лучшие климатические условия, во-вторых, непосредственная близость Волги, главнейшей водной артерии страны, в-третьих, близость губернского города – всего 10 верст. Но, конечно, самое главное – что у Хрущева неподалеку от Норского было два имения, где он непременно бывал два раза в год – в жаркий месяц июль и в середине зимы. Сам он в то время уже служил в Черноморском военном флоте, где стал впоследствии главным экипажмейстером флота. Думаю все же, что дружба с Николаем Аркадьевичем и была главным поводом перехода отца на службу на Норскую фабрику. Отец поступил сначала на должность мастера (по-нашему, начальника цеха).

Надо сказать, что, как правило, владельцы почти не появлялись на своих предприятиях, предпочитая жить в столицах или за границей. Правление Норской фабрики находилось в Москве. В него входили три зятя основателя фабрики Хлудова: Прохоров, Найденов и Востряков. Официальное название фабрики звучало как «Товарищество Норской мануфактуры».

Управляющим, т.е. директором был во время поступления нашего отца Александр Гаврилович Голгофский, старый, обремененный большой и не очень счастливой семьей. Он не мог руководить фабрикой на должном уровне и годового дохода фабрики хватало только на содержание скотного (в 20 голов) и, м.б., конного двора. Довольно скоро Правление заметило способности отца как инженера и его административный талант и

назначило его помощником престарелого Голгофского, а затем, когда тот уволился по состоянию здоровья, директором Норской фабрики. Однако его назначению на этот пост предшествовал протест со стороны механика фабрики, надменного поляка Станислава Адольфовича Нетыксы. Нетыкса в письмах в Правление уверял, что только он один способен занять место директора. Члены Правления посмеивались и давали читать эти письма отцу, приезжавшему в Москву по делам. Почему Правление отвергло притязания Нетыксы, я не знаю. Может быть, потому, что главный пайщик фабрики К.К.Прохоров был русофил. А Нетыкса на каком-то вечере, подсев к маме, во всеуслышанье стал убеждать ее, что вся Украина вместе с Киевом принадлежит по праву Польше, а не России, и незаконно отнята у нее. У них в семье так и говорилось: «Поедем на Литву к бабушке в Киев». Из чего можно было судить, что и Литву они считали своей частью, на что наша мама крайне негодовала.

Словом, так или иначе, отец стал директором Норской мануфактуры и семья переселилась в хороший директорский особняк, расположенный на территории фабрики, с большим участком земли. Сюда входили большой огород с фруктовыми деревьями, сад, крокетная площадка и различные хозяйственные постройки. Маму очень полюбили на фабрике не только за ее красоту, а и за то, что она всегда заступалась за провинившихся рабочих перед папой, если почему-либо папа был ими недоволен и хотел уволить. Увольнение было очень тяжелым наказанием, так как семья лишалась не только крыши над головой, но и отопления, возможности пользоваться баней, прачечной, больницей, и вообще всеми благами, которыми пользовались рабочие на фабрике, не говоря уж о зарплате. Поэтому жены провинившихся рабочих всегда шли к маме, просить за своих непутевых мужей. Я очень боялась этих разговоров, проходивших часто с плачем и причитаниями, и всегда убегала в детскую.

Должности инженера и директора оплачивались очень высоко. Бывали случаи, что главный инженер получал больше директора, как это случилось с В.И.Чердынцевым. Хорошо помню, что отец получал 12 тысяч в год, т.е. столько же, что и ярославский губернатор, граф Татищев. И это при бесплатных квартире, отоплении, освещении и прекрасных лошадях. А когда отмечался 25-летний юбилей службы отца (а фабрика к этому времени давала два миллиона прибыли), жалование папы увеличили до 18 тысяч в год. Кроме того, на юбилее ему подарили пять паев и 25 тысяч единовременно, а также огромного серебряного осетра с хрустальной вазой на спине для серной икры. Жена К.К.Прохорова (урожденная Ушкова) сказала, что рыба не предвещает ничего хорошего и подарила отцу крохотного слоника (м.б., из лунного камня), который до сих пор стоит на маркетри в нашей гостиной. Сама Лидия Петровна дружила с А.Е.Ферсманом, при содействии которого она собрала прекрасную коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней. Так что наш слоник, возможно, входил в состав этой коллекции.

Кстати, о наших лошадях. Они и в самом деле были «лучше губернаторских», как говорил с гордостью наш кучер Ларион. А объяснялось это тем, что мамин брат Иван Александрович, конечно, постарался выбрать для своей сестры лучших коней.

**Семья Марии Петровых**
**(фото из архива К.В. и В.В. Чердынцевых)**

**Чаепитие в доме о. Александра (Смирнова) в Норском посаде.**
**Слева направо: Д.Д. Вилинский, о. Александр, Е.Д. Смирнова (Вилинская), Фаина, Дмитрий, Иван. Конец 1880-х – начало 1890-х гг.**

**Ф.А.Смирнова.**
**Около 1896 г.**

**С.А.Петровых.**
**Около 1896 г.**

**Семья Марии Петровых**
**(фото из архива К.В. и В.В. Чердынцевых)**

**Семья Петровых в своем доме на Норской фабрике.**
**Слева направо, стоят: Николай, Елена, Владимир;**
**сидят: С.А. Петровых, Мария, Ф.А. Петровых, Екатерина. Около 1915 г.**

**Мария и Екатерина. 1937 г.**

**Норская фабрика. Вид с Волги.**
**Фото начала XX века.**

**Екатерина Чердынцева-Петровых (слева)**
**с дочерью Ксенией и сестрой Марией.**
**1944 г.**

Что я помню о папином увлечении учением Л.Н.Толстого. Был у нас, как у всех тогда, альбом семейных фотографий. Из них запомнились две: папа – маленьким реалистом, и другая, где он в студенческой форме, с довольно большой окладистой бородой. Кто-то из старших объяснил мне, что папа в те годы увлекался учением Л. Толстого и, вероятно, в подражание ему носил бороду. Косвенным подтверждением увлечения Толстым был разговор старших в гостиной о «Войне и Мире», который я четко помню. Папа сказал, что из его памяти совершенно стерлось все, касающиеся жизни семьи Ростовых и Болконского (там одни описания), но она дословно сохранила философские рассуждения Толстого. Это увлечение, вероятно, не было глубоким. Став инженером, он всецело посвятил себя работе, усовершенствованию технологических процессов в ткацком деле.

Во время своего директорства отец организовал так называемое потребительское общество, чтобы избавить рабочих от мелких лавочников, которые стали вести свою торговлю за воротами фабрики. Впрочем, и лабаз (так назывался потребительский магазин) тоже находился вне фабричной территории, сразу же за воротами фабрики. Надо было только перейти так называемую большую дорогу, соединявшую губернский город Ярославль с уездными городами – Романовым-Борисоглебском и Рыбинском. Большая дорога была обсажена в четыре ряда старыми березами еще при Екатерине II (или при Аракчееве, как утверждали другие). В лабазе продавались мука, крупы, второсортное мясо, растительное масло и прочее, а также необходимая в хозяйстве утварь. Сначала отец был председателем этого потребительского общества, а потом передал эту должность кому-то другому.

Во время управления фабрикой был такой эпизод. Однажды отец увидел, как городовой избивает рабочего. Папа вступился за избиваемого и, в свою очередь, как следует отколотил городового. Тот пожаловался жандарму или председателю Союза русского народа (организации крайне монархической). В Ярославле жандармский полковник сообщил об избиении городового губернатору, которым был в то время Римский-Корсаков: тот вызвал отца в свою канцелярию, накричал на него и приказал покинуть губернию в течение 24 часов. Отец отправился на телеграф и дал телеграмму в сто слов (или на сто рублей – я запомнила лишь цифру «сто») Правлению фабрики. Там приняли какие-то экстренные меры и решение губернатора было отменено. Думаю сейчас, что дали, кому следует, солидный екш.

Была ли на фабрике революционная подпольная организация, я не знаю. Дома об этом никогда не говорили. Что же касается Союза русского народа, то председателем его был фабричный фельдшер, человек небольшого роста, но необыкновенной толщины – Федор Тихонович, которого за глаза рабочие звали Федя-пузо, а мы с Марусей звали его «писячок-с» как он раз назвал покрасневший глаз Маруси.

За время управления Норской фабрикой нашим отцом ее рентабельность очень значительно возросла. (Так, в 1916 или 1917 году чистая прибыль от нее равнялась одному миллиону).

Правление фабрики решило предпринять в 1909 году большое строительство новых зданий и перестройку устаревших. На заседание, где Правление решало этот вопрос, был, разумеется, приглашен и отец. Он со своей стороны выдвинул одно условие: чтобы в архитекторы строительства был бы приглашен *абсолютно честный* человек, не способный вступать во всяческие сделки с подрядчиками. Правление нашло это предложение отца разумным и обещало отыскать в Москве такого архитектора, которому можно было бы доверить всю материальную часть строительства. Им оказался Сергей Борисович Залесский. Тогда и началось наше знакомство с ним и с Екатериной Семеновной. Сергей Борисович приезжал на фабрику несколько раз в год. Первым объектом, насколько помню, было строительство огромного сарая для хранения хлопка, т.е. сырья. Это было кирпичное сооружение на довольно высоких столбах для усиления вентиляции и предотвращения возникновения самовозгорания, характерного для хлопка.

И все же один случай мне запомнился. Хлопок перегрелся и начался пожар. К счастью, его довольно скоро удалось ликвидировать.

Одновременно с хлопковым сараем началось строительство новой конторы, примыкавшей слева к главному корпусу фабрики. Это было большое двухэтажное здание. Кабинет отца с видом на Волгу был не менее 40 кв.м., рядом с ним находилось помещение, где за застекленными витринами были выставлены медали (насколько помню – золотые), полученные фабрикой на различных выставках за качество товаров.

В большом зале конторы за стеклянной перегородкой восседал главный бухгалтер фабрики Иван Иулианович Мандровский. Новинкой была пишущая машинка, на которой работала П. Гарманова, красивая девушка с нежно-розовым цветом лица. Конторщики сидели за отдельными столиками, непрерывно щелкая на счетах. Что находилось на первом этаже конторы, я не помню. Возможно, там были кабинеты ведущих инженеров и механика.

Затем строилось большое общежитие для служащих и, наконец, прачечная, значительно облегчавшая стирку. Уже не приходилось таскать на Волгу мокрое белье, чтобы его прополоскать. Особенно тяжело это было зимой, когда белье полоскалось в вырубленной в толстом льду проруби, над которой возводился большой шалаш из жердей, переплетенный еловыми ветками. Тогда это казалось нам из-за морозов просто невозможным (а во время эвакуации мне пришлось самой стирать пеленки маленькой дочери в воде с плавающими льдинками). Помнится (довольно смутно), что был сожжен барак, называвшийся почему-то «Ноев ковчег», и на его месте возведены были новые казармы. Начальная школа и больница были в хорошем состоянии и их не перестраивали, так же, как и два здания для служащих, где были пятикомнатные квартиры для инженеров, врачей, бухгалтера и старших конторщиков.

Помню, что С.Б.Залесский, приезжая на фабрику, сначала останавливался в нашей семье. Еще помню, что он очень удивился, когда, придя к обеду в столовую, увидел, что за столом, кроме родителей и гувернантки, сидят пятеро детей. «А сколько у вас?» – спросила мать. «Всего одна», – ответил С.Б. Запомнился его рассказ о том, как Любочка, организуя с подругами на даче спектакль, спросила родителей, кто же должен платить деньги. Публика или актеры?

Тогда и в голову не могло придти, что мы, я и Маруся, будем жить в квартире Залесских в Гранатном переулке, в Москве. Как сказал И. Бабель: «Случай – это редкий гость, но часто хозяин в нашей жизни».

Выше я писала, что в семье никогда взрослые не говорили на политические темы. И все же в 1912 году на фабрике вспыхнула забастовка. Как и в чем она выражалась, я не знаю. Помню только, что отец ушел, а мать стала молиться на коленях в своей комнате. Очевидно, она молилась за отца, так как негодование рабочих обычно обращалось на директора, который был выразителем воли ненавистных хозяев.

Зазвонил телефон, и кто-то сказал маме, что на фабрику прискакали казаки. Нас всех охватил ужас. Казаки считались тогда представителями грубой реакционной силы и ничего хорошего от них не ждали. Даже мы, дети, были в ужасе.

Кто их вызвал – тоже не знаю. Тогда уже существовала телефонная связь и казаков мог вызвать или «писячок-с», или голубой жандарм по фамилии Каун.

После Октябрьской революции 1917 года получил широкое распространение Ленинский лозунг: «Земля – крестьянам, фабрики – рабочим». Из Ярославля приезжали агитаторы с разъяснением новых законов. Был введен восьмичасовой рабочий день. Но фабрика, которая была национализирована, очень скоро перестала работать из-за отсутствия топлива. В конце 1918 года отец ушел с фабрики и уехал в Москву к старшим детям. А мама с нами двумя переехала к бабушке в Норский посад.

В 1920 году рабочий комитет снова пригласил отца заведовать фабрикой. Во время последнего житья в Москве папа выхлопотал через Красина баржу с нефтью для Норской фабрики. Баржа из Баку отправилась на север, благополучно миновала дельту Волги и по

великой русской реке добралась до Астрахани. Здесь на нее погрузилась группа матросов, которые должны были сопровождать баржу до места назначения и в больших городах давать телеграммы в Баку и Норское о следовании баржи. Вначале все шло как будто ничего, папа получил две телеграммы о том, что баржа идет на север, а потом они замолчали. Папа посылал запросы в крупные города по пути следования баржи, не знаю, получал ли он ответы, но если и получал, то они были неутешительными. Помню, что мне очень хотелось, чтобы баржа с нефтью достигла Норской фабрики. По вечерам я уходила на Волжский берег в густые кусты и на коленях просила Бога, чтобы нефтеналивная баржа дошла благополучно до фабрики и та снова бы заработала, а папа получил бы возможность снова управлять процессом приготовления мануфактуры. Но с последнего места прохождения (с Царицына) баржа замолчала и больше не дала о себе знать. На юге еще продолжалась гражданская война, и баржу или захватила какая-нибудь группа, или реквизировали большевики, или она потонула при обстреле. Во всяком случае, больше вестей о ней не было. Папа был очень огорчен. Еще бы: снова оставаться на фабрике в качестве сторожа, препятствовать ее разграблению... да еще рабочий комитет, который все время вмешивался в папины распоряжения и настаивал на своих, довольно глупых предложениях.

Это было трудное время, но однажды папа пришел и принес сразу несколько писем. Одно было от Иосифа Антоновича Короткевича, который писал папе, что занимается изготовлением нового строительного материала, который называется железобетон, и что если его сын (речь шла о моем брате Владимире), кончающий институт инженеров путей сообщения, хочет получить эту новую специальность, то пусть он зайдет к нему по такому-то адресу. Я очень долго помнила даже этот адрес. Папа тут же написал Володе о представляющейся возможности, (видимо, многообещающей – с лесом и бревнами было туго, с кирпичом тоже, а этот материал дает возможность строить промышленные предприятия без леса и кирпича). А второе письмо было от Юшкевича, он писал папе, что его сын работает главным инженером на Ярославском авторемонтном заводе и что он пишет ему, чтобы он навестил нас. Мама стала готовиться к приему сына Юшкевича, так как очень скоро раздался телефонный звонок и папа сказал нам, что этот сын завтра приедет. И действительно, утром около нашего дома остановился автомобиль (что было достаточной редкостью) и оттуда вышли два молодых человека. Один из них был сын Юшкевича, а другой – директор этого авторемонтного завода Григорий Ильич Темчин. Они вошли в дом, мама угостила их довольно скромным обедом, какой она могла приготовить в 18-ом году, а потом приехавшие совещались в папином кабинете.

Очень вскоре после этого к нам приехали на автомобиле двое военных, очень хорошо одетые, опять прошли в папин кабинет, а потом папа пошел с ними по фабрике, показать ее, с ними следовал представитель фабричного комитета. Папа сказал ему, что, может быть, будет возможность снова пустить фабрику и чтобы он для этого собрал наиболее квалифицированных рабочих для обслуживания необходимых первоочередных работ. Комитетчик ушел, а папа продолжал показывать гостям фабрику, устройство ее, электростанцию, которая тогда почти не работала, т.е. работала на дровах, которые вот-вот должны были кончиться. А как дальше быть, неизвестно. Вскоре явилась целая группа рабочих и опять начались разговоры о том, что теперь фабрика принадлежит рабочим и директор с приехавшими товарищами только должны помочь с топливом. Ну, товарищи, конечно, с этим соглашались, но и они реального топлива не имели. Папа продолжал экономить запас дров, чтобы как можно дольше обеспечивать казармы отоплением и освещением, но этого запаса было недостаточно для настоящей работы.

Я уже писала, что, как правило, владельцы предприятий не появлялись на своих фабриках. Правление находилось в Москве и хозяин, точнее, главный пайщик, К.К.Прохоров крайне редко появлялся в Норском, предоставив все управление и всю власть директору фабрики, т.е. нашему отцу. Так было и на других фабриках. Пошли слухи о том, что организованные рабочие комитеты удаляют директоров самым зверским

образом: привязывают к тачке, под улюлюканье вывозят тачку за ворота и выбрасывают, как негодный мусор. Один из директоров – знакомый отца – после такой расправы застрелился. Мама была в ужасе от этих слухов.

Она обратилась в фабричный комитет с просьбой, чтоб ей дали лошадь для поездки в Ярославль к врачу. А отец налегке, с тросточкой, пошел, как обычно, по территории фабрики. Дойдя до ее южных границ, он спустился на берег Волги, дошел до Скобыкина, поднялся наверх до Большой дороги. Вскоре его догнала мама на лошадях. К счастью, кучером был наш Ларион. Так они доехали до города. Взяв из экипажа чемодан со своими вещами, отец попрощался с мамой и Ларионом и отправился на вокзал, а мама – к дантисту, посещение которого было, конечно, фиктивным.

После этого (в 1921 году) мы переехали на авторемонтный завод на окраине города Ярославля, директор которого, как оказалось, в первое свое посещение уже сделал папе предложение. Приехали два грузовика, все вещи были погружены, мы сели рядом с шофером и поехали, а рабочие даже не тронули нас, а могли бы, конечно, задержать и даже арестовать и конфисковать вещи, но они были просто ошарашены папиным отъездом, так как на их плечи свалилась фабрика и все ее сложное хозяйство. Они начали совещаться, проводить митинги, но, конечно, вести дела лучше, чем это делал папа, не могли.

В заключение главы о моем отце приведу его краткую биографию.

*Краткая биография С.А.Петровых*

6-19.1Х.1864 г. У городского головы гор.Устюжны (б. Новгородской губ.) Алексея Семеновича и его жены Марии Степановны Петровых-Лотониных родился сын Сергей (кроме сына, в семье было шесть дочерей: Вера, Екатерина, Надежда, Александра, Серафима и Мария).

1875 г. Поступил в Череповецкое реальное училище.

1882 г. Окончил реальное училище в гор. Череповец.

1884 г. Поступил в Петербургский Технологический Институт на химическое отделение. Учился на одном курсе со старшим братом Л.Б.Красина Юлием и жил с ним в одной комнате. Некоторое время увлекался учением Л.Н.Толстого.

1890 г. Окончил Петербургский Технологический Институт, получив звание инженера-технолога.

1891 г. Работал на какой-то фабрике недалеко от столицы (??).

1892 г. Поступил на работу на фабрику «Товарищества Норской мануфактуры» близ г. Ярославля в качестве прядильного мастера.

1896 г. Женился на Фаине Александровне Смирновой.

1901 г. Переведен на должность помощника директора Норской фабрики.

1905 г. Конфликт с жандармом, в результате которого губернатор угрожал выслать С.А.Петровых в течение 24-х часов за пределы Ярославской губернии.

1906 г. Назначен директором Норской фабрики (вместо А.Г.Голгофского).

1917 г. Торжественно отмечалось 25-летие работы С.А.Петровых на фабрике, сумевшего в относительно короткий срок, рационализируя технологический процесс, превратить почти дефицитную фабрику в высокорентабельное предприятие.

В конце1918 г. из-за отсутствия топлива Норская фабрика была законсервирована и С.А. Петровых перешел на работу в Ярославский Губпромхоз.

В начале 1920 г. был вновь приглашен на фабрику на должность директора рабочим комитетом, но обещанного топлива фабрика так и не получила.

В 1 пол. 1922 г. Сергей Алексеевич поступил на Ярославский Авторемонтный завод в качестве зав. материальной частью.

Осенью 1924 г. перешел на работу в Серпуховской трест (г. Москва) на должность. инспектора.

В конце 20-х гг. работал инспектором в ВСНХ (до 1932 г.).

С 1932 г. по 1936 г. работал инженером в Наркомлегпроме.

В 1936 г. вышел на пенсию по возрасту.

17.III.1941 г. Скончался от сосудистого заболевания. Похоронен на Введенском кладбище (уч. 8).

Теперь, описав более или менее подробно наше семейное древо, перейду непосредственно к нашей семье и тем воспоминаниям, коим я была непосредственным свидетелем.

*Жизнь семьи*

Расписание дня семьи определялось работой отца. Рано утром (в пять часов) он уходил на фабрику и возвращался в 8-30 – 9 час., к утреннему чаю (слово «завтрак» у нас не было принято). Дети подходили к родителям, девочки делали реверанс, мальчики шаркали ножкой со словами: «Guten Morgen, Papa', guten Morgen, Mama'». Затем все усаживались за стол. Часто подавались горячие изделия из дрожжевого теста: лепешки, сочни, ватрушки, обливашки и т.п. Детям давали очень жидкий чай пополам с молоком. После каждой еды полагалось снова подходить к родителям с книксеном, говоря: «Jch danke». Затем младшие (т.е. Маруся и я) садились за занятия, которые продолжались около 1,5 часов. После чего отправлялись гулять по нашей территории, где мы могли резвиться без надзора старших – бегать по саду, качаться на качелях, в гамаке, искать грибы, копаться в своем огородике, играть в серсо, в мяч, катать обруч, кегли и т.п. В 12-30 отец приходил обедать, после чего ложился спать и в доме воцарялась полная тишина. Все дети сидели по своим комнатам и занимались «тихими играми», а если погода была хорошая, отправлялись гулять под присмотром гувернантки – подальше от дома, чаще всего к высокому берегу Волги. Папа в 2-30 опять уходил на фабрику и возвращался к пяти часам – к вечернему чаю, после которого снова шел на фабрику. В его отсутствие мы могли играть в буйные игры. В 8 часов – ужин из двух блюд (по субботам обязательно пельмени). До девяти мы еще с полчаса играли, иногда – чаще зимой – пели детские песни под мамин аккомпанемент.

Хотя нас, детей, было пять человек, мы отчетливо распадались на три группы: у старшей, Лели, был свой отдельный мир с не одобряемой отцом Чарской, с бархатным темно-синим альбомом, который заполняли нравящиеся ей стихи современных поэтов. А в нижнем углу последней страницы какой-нибудь девицей непременно писалось: «Кто пишет далее меня, тот любит более, чем я». Леля и сама писала стихи, которых ни я, ни Маруся не запомнили, за исключением, может быть, одной-двух строчек. У братьев была своя, мальчишеская жизнь. На нас они посматривали свысока, как на мелюзгу, и крайне редко принимали в свои игры. Но к Леле относились даже с некоторым почтением, как к старшей.

В те годы продолжало еще действовать безусловное правило уважения к старшим, хотя разница в возрасте между нами была совсем небольшой. В течение многих лет мы с Марусей вспоминали иногда этот факт, всегда с долей некоторого недоумения, т.к. Леля не была ни начитана, ни умна, хотя не без способностей. Впрочем, было у нее одно качество, которое могло импонировать мальчишкам: она стремилась быть экстравагантной, особенно в гимназические годы.

И лишь позднее Владимир (Николая давно уже не было) оценил ум Маруси, приезжал к ней делиться своими трудностями, которыми была полна его жизнь (основная, пожалуй, это безумие – клиническое – его жены, а затем неприятности по работе, связанные с его длительной командировкой в США во время войны. Можно удивляться тому, что он не был посажен, как большинство побывавших за границей). Неприятности были не только у него, но и у его сына Николая (тогда студента Менделеевского института.). Он был

крупный инженер-строитель, одной из последних его работ было участие в сооружении Дворца Съездов.

Зимой старшие дети уезжали учиться в Ярославль – Леля в частную гимназию Корсунской, братья – в реальное училище. Мы с Марусей, так же, как и летом, много гуляли – катались на санках с горы, ходили на так называемых охотничьих лыжах (широких, дубовых, в загнутые носы которых сквозь просверленные дырки продевали веревки для нашей большей устойчивости), копались в снегу, строили крепости, а в оттепель лепили снежных баб. Но все это было, когда Маруся ушла из-под опеки няни. По субботам за сестрой и братьями посылали лошадей. Их приезд вносил всегда радостное оживление в жизнь семьи.

*Праздники и развлечения*

Таким был в те годы распорядок нашей жизни, изредка нарушаемый достаточно скромно отмечавшимися семейными праздниками (дни именин и рождений) и очень торжественно – Рождеством и Пасхой.

**Рождество.** За несколько дней до 25 декабря (старого стиля) нам привозили из заволжских лесов большую елку, почти достававшую до высокого потолка, и дом сразу наполнялся чудесным запахом хвои и снега и ощущением приближающегося праздника. Пока она еще лежала на полу в зале, на ее верхушку водружали огромную «серебряную» звезду с двумя головками крылатых ангелочков. Потом елку ставили и прочно укрепляли на деревянном кресте. Мама извлекала из шкафа, стоявшего в гардеробной, огромное количество картонок с игрушками от предыдущих елок, каждый год прикупая также новые. Рассматривать и те, и другие доставляло нам огромное удовольствие. К елке начинали готовиться задолго, мать ездила в Ярославль специально для праздничных покупок. Привозила жесткий разноцветный тюль, из которого шились большие «чулки», наполнявшиеся пряниками, конфетами, золоченными грецкими орехами, в каждый вкладывался еще и небольшой подарок. В квадратики из папиросной бумаги разных цветов насыпали конфетти, завязывали кулечки толстыми нитками «ирис» и нагружали ими огромные подносы. Украшали елку мы, дети, вешая игрушки, шары, хлопушки, бусы, золотую и серебряную «канитель» и дождь. Мама с гувернанткой осторожно укрепляли свечки и бенгальские огни, чтобы они не могли поджечь ближайшие ветки и игрушки. Покупалось много серпантин, которыми мы на празднике с удовольствием опутывали друг друга.

В первый день Рождества, с утра двери парадного крыльца почти не закрывались. Прислуга едва успевала раздевать и одевать приходящих. Сначала один за другим являлись священники с причтом от всех четырех церквей Норского посада и каждый служил торжественный молебен. Мы, сестры, разодетые в лучшие белые платья, с бантами в распущенных волосах, и приодетые мальчики должны были выстаивать их чинно, не шелохнувшись. Затем священник с причтом приглашались в столовую, и они, быстро закусив, удалялись, освобождая место для следующих. Так происходило четыре раза. После небольшого отдыха начинались визиты служащих фабрики. Первым приходил папин помощник и мой крестный отец, затем другие инженеры, врачи, главный бухгалтер – все в визитках и крахмальных воротничках (обычно без жен). Они долго не задерживались, но каждый приглашался к праздничному столу с двумя обязательными окороками, икрой, осетриной и прочим, с небольшим количеством вина.

С огромным нетерпением ждали мы следующего дня, когда у нас была елка для детей всех старших служащих фабрики. Собиралось около 25-30 человек ребят и молодежи, знакомых старшей сестры. Специально приглашенная опытная учительница из фабричной школы организовывала хороводы с пением и различными играми. У нас пели:

1) Грущу – «Хожу я, брожу я все по солнышку, все по ведрышку»;

2) Капустку – «Вейся ты, вейся, капустка! Вейся ты, вейся, милая! Как мне, капустке, не виться, как мне, милой, не завиться»;

3) Теремок – «Стоит в поле теремок, теремок. Он не низок, не высок, не высок»;

4) Просо – «Уж мы просо сеяли, сеяли! Ой, дид-лада, сеяли, сеяли! – А мы просо вытопчем, вытопчем! Ой, дид-лада, вытопчем, вытопчем»;

5) Царевича-королевича – «По загороду гуляет, по загороду гуляет царевич-королевич, царевич-королевич! Себе невесту выбирает, себе невесту выбирает царевич-королевич!»;

6) Метелицу – «Вот по улице метелица метет, скоро все она дорожки заметет! Ой, жги, жги, жги, говори, скоро все она дорожки заметет!»

«В лесу родилась елочка» у нас не пелась.

Были еще игры: «Море волнуется», «Кошки-мышки» (очень веселые), «Жмурки» и другие.

Затем раздавались хлопушки. Дети с треском разрывали их, извлекая всевозможные костюмы из папиросной бумаги, в которые тут же наряжались. После этого приносилось два огромных подноса с кульками и начиналось веселое обсыпание друг друга конфетти, опутывание серпантином и веселые пляски под звуки рояля или граммофона (никаких дедов-морозов и снегурочек ни у нас, ни у наших знакомых не бывало). Раздавались подарки, детей угощали чаем со всякими сладостями, и довольные и раскрасневшиеся детишки расходились по домам.

После этого начинался вечер молодежи. Кавалеров, как правило, не хватало, и приходилось танцевать шерочке с машерочкой. Все четыре дня до кануна Нового года (31-е декабря) мы ежедневно бывали в гостях на елках, которые устраивали сослуживцы отца для своих детей. Сколько было радости, смеха, игр, особенно в семье электротехника, где было много ребят нашего возраста.

Вечером 31-го декабря родители уходили в клуб для старших служащих фабрики встречать Новый год. А бабушка, неодобрительно покачивая головой, шла в церковь на ночное богослужение, где, надо думать, молилась о даровании всяческого благополучия в наступающем году. Нам, младшим, мама давала изюм, чернослив и другие сушеные фрукты, а горничной наказывала принести из погреба бутылку домашнего кваса, которым мы с Марусей и горничной и встречали Новый Год в 10 часов вечера, после чего укладывались спать.

**Крещение.** Следующим церковным праздником было Крещение, доставлявшее Марусе и мне огромное эстетическое удовольствие. После обедни из храма выходил крестный ход и направлялся с горы на Волгу. Сзади пара лошадей везла сани с двумя большими серебряными чанами. Достаточно далеко от берега, на замерзшей реке высилось то, что казалось нам в детстве «чудом красоты» – сооруженный из тонких прозрачных ледяных столбов шатер с крестом наверху, украшенный вырезанными из обоев цветочками. Если день был солнечный, то шатер искрился и переливался, как беседка в саду Снежной Королевы. Таким он нам, по крайней мере, казался. Разумеется, об этом мы молчали, т.к. чувствовали неблагочестивость нашего сравнения. В центре шатра была вырублена квадратная прорубь, из которой наполнялись серебряные чаны, и над ними служился торжественный молебен, то есть происходило водосвятие. Изредка какой-нибудь смельчак, обвязавшись веревкой (чтобы течение не утащило под лед), окунался в прорубь. Это всегда обсуждалось. Воду в чанах отвозили в церковь, там она стояла целый год и не портилась, что являлось доказательством ее «святости». О том, что серебро обладает бактерицидными свойствами, тогда, конечно, не знали.

Но, разумеется, гораздо веселее был не сам праздник, а его канун – «Крещенский вечерок», когда мы обязательно устраивали гаданья. К нашему времени они уже утратили свой сверхъестественный мистический элемент, и были для нас просто забавой.

Заранее на длинных полосках бумаги писались разные новогодние пожелания и предсказания, часто шутливые и юмористические. В комнату вносили большой таз с водой. Полоски с предсказаниями перегибались и прикреплялись по краю таза так, чтобы они нависали над водой. В скорлупку грецкого ореха вставлялась маленькая елочная свечка, ее зажигали и «кораблик» пускали в воду по кругу, предварительно загадав на кого-нибудь из присутствующих, иногда и на отсутствующего. В конце концов, свечка поджигала конец одной из свисающих бумажек, ее схватывали, тушили и читали вслух написанное. Иногда оно было удачно, т.е. попадало не в бровь, а в глаз, вызывая отчаянный хохот гадающих. Потом скорлупка пускалась вновь на другого участника и она снова поджигала очередную бумажку, и так, пока не исчерпывался запас полосок.

Следующим гаданием было литье воска или олова. Кусок (небольшой) того или другого клали на серебряную ложку и держали над огнем. Растопившаяся жидкость быстро выливалась в заранее принесенную миску со снегом или холодной водой и в ней сразу застывала. Тогда ее с большой осторожностью вынимали. Причудливо застывший кусок олова или воска поворачивали во все стороны и смотрели на тень, которую он отбрасывает на стене. Почти каждый раз можно было увидеть нечто забавное, иногда даже художественное или действительно предсказующее. (Так, 18 января 1948 года мне вылилась отчетливая фигурка женщины с двумя детьми; а через месяц у меня родился второй ребенок – сын Виктор).

**Масленица.** Следующим, уже старославянским языческим праздником (хоть и утвержденным церковью как канун великого поста) была Масленица. По народному поверью, нужно было есть как можно больше всякой еды, в частности, блинов, чтобы тем обеспечить изобилие в наступающем году, который в старое время начинался с марта. Позднее Новый год переносился на другие месяцы, но обильное чревоугодие, хождение по гостям на Масленой неделе не прекращались, и языческий обряд продолжает свое существование вплоть до наших дней.

На Масленой каждое утро к столу у нас подавались вкуснейшие горячие блины, обязательно из гречневой муки. Блины с черной и красной икрой, семгой и пр., но ни о каком чрезмерном объедении не было речи. Мы с Марусей, помню, съедали по 5-6 блинов.

Очень распространен был на Масленой неделе обычай катанья на санках с гор и на лошадях. Это веселье прекрасно изображал на своих полотнах Кустодиев.

В четверг или пятницу на Масленой к нашему крыльцу подавалась пара серых в яблоках коней, обязательно с бубенцами на хомутах и колокольчиком под дугой, с неизменным кучером Ларионом на облучке. Мы рассаживались в просторные сани и кони мчались во всю прыть по набережной Волги к Норскому посаду. Там по двум главным улицам одна за другой медленно трусили лошади, запряженные в ковровые сани. Иногда движение замедлялось, или даже останавливалось (из-за большого скопления упряжек). Искрящийся голубоватый снег, скрип полозьев, смех, веселые шутки, которыми обменивались катающиеся – все это создавало приподнятое, праздничное настроение. Во время одной из таких остановок масленичного поезда, стоявшая сзади наших саней лошадь откусила, видимо, из любопытства, большое страусовое перо с маминой шляпы. Нас это ужасно насмешило, но мы подавляли свое веселье, чтобы не заслужить замечания.

Между двигающимися санями шмыгали мальчишки, выпрашивая деньги на керосин, чтобы жечь Масленицу. А когда им отказывали, они кричали страшными, как нам казалось, голосами: «Уморра! Уморра!» Мы с Марусей боялись этих криков – в них чудилось что-то зловещее или даже колдовское. Ребята ходили также по дворам, собирая, выпрашивая для костров солому, старые доски, ящики и прочий деревянный хлам.

Вечером мы всей семьей выходили на берег реки и смотрели, как по всем заволжским деревням и селам горят высокие костры – это деревенская молодежь и ребята жгли чучела Масленицы, отдавая дань языческому обряду. Были и масленичные песни. Помню только

несколько строк: «Уж ты Масленица, ты обманщица! Ты сказала семь деньков, – теперь пятница...»

**Великий пост и Пасха.** Сразу же после Масленицы наступал Великий пост, который мы, дети, соблюдали только последнюю, седьмую неделю. Маруся же отстояла свое желание поститься все семь недель. И даже мама, несмотря на все усилия, не могла переубедить ее (а она была не только самой младшей, но и самой хрупкой из нас).

На четвертой неделе поста – в среду или четверг – наша Маша пекла из теста «жаворонков». В середину одного из них закладывался тщательно вымытый мамой серебряный гривенник, который предрекал нашедшему удачу. Брат Володя, самый способный из нас на выдумки, изобрел безошибочное угадывание «жаворонка» с гривенником, прокалывая нижнюю сторону иголкой. Ну, и стыдили же мы его за это!

С середины последней недели поста начиналась подготовка к празднику Пасхи. В среду, насколько помню, в ржаном тесте запекался в русской печи огромный окорок ветчины, распространявший по всему дому невероятно вкусный запах. Он был особенно соблазнительным еще и потому, что на страстной неделе вся семья, кроме отца, не ела ничего мясного. В четверг же начинали красить яйца (не меньше сотни). В этом занятии принимали участие и мы, дети. Мама разводила в стаканах специальные краски (красную, синюю, желтую), в которые опускались только что сваренные, еще горячие яйца; небольшую часть окрашивали в луковых перьях. Самые замечательные получались, когда мама опускала в кипяток ворох разноцветных шелковых лоскутков, а потом туда же помещались яйца. Каждое вынутое затем мы встречали криками восторга – такой разнообразной, неожиданной и даже фантастической получалась их окраска. Сколько радости Марусе и мне доставляло это занятие! Покончив с ним, все опять, кроме отца, обязательно ехали в церковь на «Двенадцать Евангелий».

В пятницу делались разнообразные пасхи из творога. Но самым сложным, почти священнодействием, было изготовление куличей, тесто которых (особенно пышное и нежное и потому «капризное») не выносило ни малейшего сотрясения. И нам строго запрещалось хлопать дверями, особенно дверью в кухню, которая, как на грех, была на тугой пружине. Не помню случая, чтобы куличи не удавались, но какую радость и облегчение испытывали мама и наша милая кухарка Маша, когда с предельной осторожностью вынимали их из форм и укладывали на решета, или даже на подушки. Высокую ромовую бабу мама заказывала в Ярославле.

Вечером в субботу нас укладывали в постель чуть ли не в шесть часов, чтобы мы могли хоть сколько-нибудь выспаться до начала заутрени. Будили в 11. Как не хотелось вставать! Но мысль о предстоящем заставляла стряхивать сонливость и мы, торопясь, одевались в заранее приготовленные нарядные белые платья. При выходе на крыльцо из светлого помещения сразу охватывала полная темнота и пронизывающий холод. Потом постепенно начинают вырисовываться контуры светло-серых лошадей, которые заявляют о себе еще и фырканьем, и позвякиванием бубенцов. Ларион в праздничной бархатной поддевке. Мы усаживаемся. Мама говорит традиционно: «С богом», кони трогают и сразу переходят на крупную рысь. Скоро выезжаем на высокий берег реки. Ее почти не видно, но она ощущается и в особой свежести, и в запахе воды, а при ледоходе – треском и шуршанием льдин. Вот и церковь, сверху до низу украшенная разноцветными фонариками. Торжественное богослужение – заутреня, приподнято-радостный звон колоколов во всех четырех церквах Норского посада. Отправляемся к бабушке разговляться, но есть ничего не хочется, а только спать, спать, спать.

В первый день Пасхи, как и в Рождество, приходили один за другим четыре Норских священника с причтом и певчими. И опять надо было чинно выстаивать молебны, за которыми на этот раз следовали еще выступления хора певчих с какими-то долго длившимися песнопениями, называвшимися концертами. Их было особенно трудно выслушивать, стоя неподвижно, к тому же братья часто пытались нас чем-нибудь

незаметно рассмешить, за что всем нам, если бы мама заметила, сильно бы досталось. После концерта певчих одаривали деньгами и приглашали в дальнее помещение, где угощали а-ля-фуршет пасхальными блюдами. Когда заканчивалась религиозная часть праздника, два больших стола, стоявших в стороне зала, сдвигались в один длинный-длинный, буквально ломившийся от обилия всевозможных яств. Тут и высокая ромовая баба, и куличи, и творожные пасхи разных сортов, все украшенные пышными шелковыми цветами (обычно красного цвета). Два обязательных окорока – ветчинный и телячий, на их «ножки» надевались «манжеты» из розовых, круто завитых бумажных полосок. Наш садовник, Николай Андрианович выращивал к этому дню на двух больших овальных блюдах густую зелень овса, среди которого раскладывались разноцветные яйца. И всегда, всегда – благоухающие гиацинты. Маруся, так же, как и я, на всю жизнь полюбила их изумительный запах, так неразрывно связанный для нас обеих с детством. И опять визиты сослуживцев отца (все обычно были одеты в парадные визитки с белоснежными крахмальными воротниками и манжетами), и опять чинные реверансы; и мы стремительно убегаем в свои комнаты и там катаем яйца, но не настоящие, а деревянные, в специальных лоточках. Катать настоящие нам почему-то не разрешалось, и я с завистью смотрела, как посадские мальчишки в красных и голубых рубашонках с азартом катали с зеленных пригорков настоящие крашеные яйца. Выигравший собирал их в фуражку или в подол рубашки и с гордостью нес домой матери. Конечно, на другой день он мог их и проиграть, но вряд ли мать отдала бы ему назад весь выигрыш.

Для нас Пасха совсем не была такой веселой, как Рождество: не было ни детских праздников, ни подарков. Мама обычно покупала нам шоколадные яйца, внутри которых находилась какая-нибудь безделушка, завернутая в папиросную бумагу. В этот день у мамы было еще много посетителей: жительницы Норского посада, работницы фабрики и крестьянки из соседних деревень приходили к ней похристосоваться. Мама выходила к ним для выполнения этого обряда, рядом с нею – в просторной прачешной – ставилась большая корзина с разноцветными яйцами, которыми она обменивалась с поздравлявшими.

В конце мая, когда просыхали дороги, была обязательная поездка в Харитоново за ландышами. Кучер Ларион подавал к крыльцу линейку – длинный экипаж, в котором размещалось не менее восьми человек спинами друг к другу. Весело было сидеть и болтать ногами, которые не доставали до подножки, и смотреть на пробегающую мимо природу. Самого имения, которое находилось в 12 верстах по большой дороге к Романову, я не помню, но в его темном лесу расцветало неимоверно большое количество ландышей. Пока мы собирали цветы, Ларион стоял около лошадей, обмахивая их большими ветками и отгоняя настойчиво вившихся вокруг слепней и оводов.

С огромными букетами, усталые, но страшно довольные мы возвращались домой. Во все вазы, вазочки и даже в широкие стеклянные банки (из-под сельди) ставились цветы, и комната наполнялась чудесным запахом. Мама строго следила, чтобы увядшие ландыши не попали домашней птице, для которых они были смертельной отравой.

Во второй половине лета на той же линейке отправлялись подальше в лес, за грибами. Впрочем, это был скорее предлог для прогулки на лошадях, так как грибы росли не только в лесу рядом с Норским, но даже на самой территории фабрики и в нашем саду. Отборные мелкие белые грибы и рыжики, которые шли на маринование и на засолку, маме приносили женщины и девочки из ближайших деревень.

В жаркие летние дни ходили купаться на Волгу в специально построенных купальнях, с деревянным полом на уровне человеческого роста. Со страхом смотрели, как братья выплывали из купальни и «саженками» устремлялись на противоположный берег реки, где был прекрасный песчаный пляж. В начале лета они часто сильно обгорали, и кожа сходила с их спины целыми кусками. Вообще переплыть Волгу считалось рискованным молодечеством: на реке часто тонули из-за глубоких ям и водоворотов.

По два раза в год (зимой и летом) обязательно ездили в гости к Горяиновым и Хрущевым. В Михайловском у Горяиновых стоял большой кирпичный, недостроенный дом, страшно зияя, как нам с Марусей казалось, своими пустыми темными окнами-глазницами. Сами хозяева – бездетная пара – жили в небольшом одноэтажном доме. Варвара Аркадьевна окончила Смольный институт с шифром, о чем говорили с уважением. Юрий Васильевич, уездный предводитель дворянства, пытаясь, видимо, увеличить доходность имения, устроил у себя маслобойный завод. Дома мы с интересом смотрели на куски сливочного масла, подававшегося за столом, на которых было вытиснено имя нашего знакомого.

У Горяиновых чувствовались остатки помещичьего быта. Во дворе, в удалении от дома была вырыта глубокая яма, в которой жили пойманные хозяином на охоте лисицы (не медведи, как бывало ранее). Они прыгали, потявкивая, пытаясь вырваться на свободу, но стены ямы были чересчур высоки и отвесны. Запах кругом стоял ужасающий. Мы с Марусей скорее убегали от этого усадебного аттракциона.

Однажды после обеда у Горяиновых со мной произошел казус (который я долго не могла вспоминать без стыда, заливающего все мое существо). Встав из-за стола, я подошла к хозяйке и, поблагодарив, присела перед нею. Варвара Аркадьевна наклонилась и поцеловала меня. Затем я подошла к Юрию Васильевичу, тоже поблагодарила, сделав книксен, и подняла свое лицо, ожидая поцелуя. Он сначала не понял, чего я жду, а потом, улыбнувшись, сказал: «Нет, Катенька, я не могу тебя поцеловать: у меня насморк». Его слова повергли меня в ужасное смущение. И долго-долго потом я не могла думать об этом случае (обычно вечером, уже лежа в постели) без жгучего стыда.

У Горяиновых, как и у нас, был граммофон, что тогда было новинкой. И я помню, как он и папа спорили о преимуществе граммофонных труб – у них была серебряная, а у нас из какого-то дерева ценной породы. Бывали разговоры о законе, отменившем крепостное право. Сущность спора я не помню, но, кажется, реформа критиковалась (сейчас нельзя не удивляться, что спустя полвека это событие могло еще быть темой для разговора).

На Дворянской улице в Ярославле был сиротский дом, созданный на средства Горяинова-отца. Сам он, как говорили, жил постоянно в Париже, где прокучивал свое состояние. После революции Горяиновы переехали в Москву. Юрий Васильевич устроился на работу в театр Вахтангова на должность, кажется, зав. реквизитом, или что-то в этом роде.

Другая семья, которую мы также всегда навещали, были Хрущевы. Николай Аркадьевич был другом папы еще со времен реального училища. В Ярославской губернии у него было два имения: одно чуть дальше Горяинского, а другое где-то далеко за Волгой, где они проводили Рождество и куда мы ездили зимой по такой непроезжей дороге, что приходилось запрягать лошадей гуськом, что было особенно интересно.

Николай Аркадьевич был крестным отцом брата Володи, а сын его – тоже Владимир – крестником нашего папы. Недолгое время Володя Хрущев учился в Ярославском кадетском корпусе и на воскресенья приезжал к нам. Братья втихомолку дразнили меня его невестой, потому что, с их точки зрения, он чересчур вежливо и предупредительно обращался со мною. Я с деланным негодованием говорила, что все это глупости, а сама втайне и со смущением чувствовала, что это так, и что это приятно мне. Володя всегда вез в гору мои санки, не давая мне самой делать это (не то, что братья, которые еще и свои санки заставляли везти меня), играл со мною в шашки (думаю, что поддавался мне). Но года через два Ник. Арк. перевел Володю в Морское училище в Петербурге, и мы только изредка встречались с ним в их другом имении на большой дороге. Погиб он от случайной пули во время сражения с немецким кораблем около берегов Турции в 1916 году (во время первой мировой войны печатались списки погибших офицеров. Володя, конечно, не был еще офицером, но, может быть, мичманом или гардемарином). Это было первым моим горем, которое я тщательно скрывала от всех. Но, оказывается, судьба была милостива к нему, потому, что почти все члены их семьи погибли ужасным образом.

Расскажу эпизод, относящийся к 1913 году. В этом году династия Романовых отмечала 300-летний юбилей своего дома. Оно должно было пройти очень торжественно. Вся царская семья предприняла путешествие по памятным местам, они начали свое путешествие на великолепном волжском пароходе от города Углича до Костромы; два исторических города – Углич, где был убит царевич Дмитрий, и Кострома – вотчина рода Романовых. Роскошный царский пароход шел по Волге, на палубе был блиставший трубами оркестр, который все время играл бодрые марши. Я очень хорошо помню, как мы с няньками и гувернантками стояли на берегу и смотрели, как этот пароход проходит мимо Норской фабрики, направляясь в Ярославль, где у него была остановка. Правление фабрики, губернатор граф Татищев, благоволивший к отцу (не то, что его предшественник), конечно, участвовали в торжественной встрече в Ярославле царя и двора. А с Марусей произошел в это же время такой эпизод. Она увидела из окна детской подъехавший экипаж, в котором сидел военный в черном мундире, расшитом золотым галуном, с золотыми эполетами, пуговицами и позолоченной короткой шпагой (кортиком). Таких знакомых у нас не было.

– Папа, мама! Царь! К нам царь приехал, – вне себя от волнения закричала Маруся и бросилась из комнаты предупредить родителей о таком необычном визите.

На самом деле это был друг отца Николай Аркадьевич Хрущев. (В такой парадной морской форме мы, дети, никогда его не видели; у себя дома он одевался чрезвычайно просто, часто носил косоворотку). Он приехал проездом в Ярославль, где должен был представляться царю, как один из крупнейших помещиков Ярославской губернии. У него экипаж был, а лошадь была скверная, так что он заехал к нам, чтобы взять на время наших лошадей, которые были, как говорили, «лучше губернаторских». Ему, конечно, их дали, и он поехал представляться императору. Как нам рассказывали, представление Хрущева императору происходило следующим образом: Николай с одобрением посмотрел на своего подданного, великолепный экипаж которого стоял недалеко. Сказал ему пару-другую ласковых слов, конечно, спросил о месте службы – и Н.А. отрапортовал, что он является экипажмейстером Черноморского флота. Это было одобрено, и на этом аудиенция закончилась. Николай, конечно, уставал от всех этих церемоний, он ведь не был крепкого телосложения, да и все повторялось день ото дня однообразно и, наверно, все это страшно ему надоело. Ему дарили какие-то подарки, на это надо было что-то отвечать. Одна женщина даже подарила ему корову ярославской породы. Был построен целый павильон в псевдорусском стиле, а в киосках была выставлены все продукты, производимые в Ярославской губернии, вся продукция ее, как сельскохозяйственная, так и фабричная (как тогда говорили, мануфактурная). Я помню, что и Норская фабрика демонстрировала там свою продукцию. Вместе с императором присутствовали четыре великие княжны и императрица, которые тоже уставали от повторяющихся аудиенций и представлений. Молодой цесаревич тоже присутствовал (на руках у дядьки).

А/О «Самолет» было связано контрактом с Норской фабрикой, и отцу каждое лето присылался билет на каюту от Рыбинска или Твери до Астрахани. Иногда – не каждое лето – мама брала нас, младших, с собой в это путешествие, но мы никогда не доезжали до конца, а только до Саратова, Самары или Симбирска. Поэтому мы так хорошо знали и любили Волгу. Обычно за время нашего отсутствия в нашей квартире (не во всех комнатах) делался ремонт – менялись обои. За этим присматривал дворовый приказчик и бабушка. Где находились в это время отец и старшие дети, я не знаю. Может быть, в доме для приезжающих на фабрику.

Изредка мы ездили на родину отца в Устюжну и в Кондаши, где летом жил дядюшка с моей крестной матерью. Эти путешествия совершались обычно по большой воде, когда было возможно судоходство по Шексне и Мологе; ездили всей семьей, кроме отца, который свой месячный отпуск проводил обычно в Кисловодске и с нами не ездил, но когда мы собирались туда, то он обязательно нам наказывал, чтобы мы обратили внимание на разницу цвета воды Шексны и Мологи. У первой она была очень темной, с

зеленью, а у второй – светлой, с чуть желтоватым оттенком. Это хорошо было видно, когда они впадали в Волгу и первое время текли, не смешиваясь с ее водой, серовато-голубоватой. От Норской фабрики и до Рыбинска мы шли на больших комфортабельных пароходах «Самолета» с низкими бархатистыми гудками, все они носили имена русских князей. В Рыбинске всегда происходила пересадка на небольшие пароходы с мелкой осадкой. Во все время плаванья матрос, стоящий у носа, длинным шестом вымерял глубину воды, чтобы не наскочить на мель, выкрикивая на мостик «три с половиной», «два с половиной», «под табак» (что означало, что шест не достает дна и можно идти спокойн)о. Нас эти выкрики забавляли. Но иногда из-за извилистого характера этих рек, текших по равнинной местности и из-за того непрерывно петлявших, пароход все же натыкался на мель. Тогда капитан давал команду «полный вперед» или «полный назад», в зависимости от того, в какой части мели оказалось судно, и пароход, стуча изо всех сил своими машинными двигателями, снимался с мели.

Были у нас во время путешествия по Мологе любимые приметные места, например, пристань Иловня, где стоял дом гр. Мусина-Пушкина, нашедшего и опубликовавшего «Слово о полку Игореве». Помещичий дом, стоявший на искусственной насыпи, выглядел трехэтажным дворцом, который в этот день фактически был виден с утра до вечера, так как наш пароход, следуя причудливым изгибам реки, поворачивался к нему то одной стороной, то другой, то носом, а иногда и кормой. Эти петляния реки очень нас забавляли и день проходил незаметно.

*Волга*

Сколько разнообразных впечатлений доставляла нам могучая красавица Волга! От ледохода до ледостава мы едва ли не каждый день ходили на ее высокий берег, поросший деревьями и кустарником.

Около 20-го апреля река вскрывалась. «Лед пошел, лед пошел», – громко говорили все кругом и спешили к набережной. Огромные льдины, сшибаясь и теснясь, подминая одна другую, с шипеньем и треском стремились вниз по течению. Вода прибывала день ото дня, а левый низкий берег заливало водой с редкими льдинами почти до горизонта. К нашему высокому берегу вода тоже поднималась, но не помню случая, чтобы она достигала кромки набережной. Лед шел около нашего берега, где было сильное течение, и оно частично размывало крутые склоны, увлекая иногда деревья. Жалели мы их просто ужасно.

Смотрели с интересом, как льдины несли то остаток зимней дороги через реку, то мостки, то какие-то деревянные строения. Один раз с ужасом видели, как на льдине мечется рыжая собачонка и визжит, взывая о помощи.

Сразу после окончания ледохода начиналась навигация. Устанавливали нашу пристань, серо-голубую, легкую, с башенкой наверху. И вот уже слышится первый низкий бархатный гудок наших любимых розовых пароходов общества «Самолет» – с черной трубой, опоясанной широкой красной полосой. Названья их казались нам особенно красивыми, например: «Князь Михаил Тверской», или «Юрий Долгорукий», или «Мстислав Удалой». При подходе к пристани пароход давал протяжный гудок, два матроса бросали чалки, которые пристанщик и его помощник ловко подхватывали и закручивали вокруг толстых деревянных тумб. Продолжительность остановки парохода, шедшего снизу, зависела от того, привез ли он хлопок (сырье для фабрики). Это были огромные параллелепипеды (называвшиеся «кипами»), обернутые коричневой грубой материей и стянутые проволокой. Вес каждой кипы равнялся десяти пудам. Разгружала хлопок специальная артель. Страшно было смотреть на их посиневшие от напряжения лица, на налитые кровью глаза, когда, согнувшись, они выносили на спине с парохода на пристань кипы. Одеты были в сплошные дыры со свисающими кусками рванья.

Обычно «Самолет» приходил в Норское к четырем часам дня. Для нас было большим развлечением поспеть к моменту причаливания, слышать, как щеголеватый капитан

отдает команды машинисту и матросам. На пристани в это время присутствовал жандарм по фамилии Каун, статный, высокий блондин с длинными завитыми усами, в красивой голубой форме с аксельбантами. Мы его сторонились, так как смутно слышали, что к отцу жандармы относятся плохо.

Во времена нашего детства движение по реке было очень оживленным: шли пассажирские пароходы, которые мы наперебой старались отличить по гудку, пыхтели небольшие буксиры, волоча огромные баржи. Иногда по самому берегу шли бурлаки, тянувшие небольшие барки, нескончаемым потоком плыли плоты. Изредка посередине реки, нигде не приставая, шел пароход с желтым флагом, который означал, что на пароходе имеются холерные больные. И сердца наши наполнялись ужасом. Ходили по реке два парохода, «Миссисипи» и «Миссури» – с двумя высокими тонкими трубами и огромным широким колесом за кормой, которое, крутясь, вспенивало воду. Видимо, они были куплены в США, но выглядели уже тогда совершенно допотопными.

Изредка удавалось увидеть буксиры («Сирота», «Брат» и «?»), принадлежавшие дядюшке нашего отца, владельцу крупного завода, которым мы всегда радовались, как будто встречали самого дядюшку. Он часто уговаривал папу бросить службу на фабрике и вступить компаньоном к нему на завод, но отец благоразумно уклонялся от этого предложения. Благоразумно потому, что после Октября детям владельцев фабрик и заводов не только нельзя было поступить в вуз, но даже устроиться на плохонькую работу представляло большие трудности. Часто они становились «лишенцами», что означало голодное существование. Бывало и еще хуже.

Довольно часто буксиры тянули огромные нефтеналивные баржи, на которых огромными буквами было написано «НОБЕЛЬ». Это был крупнейший в те годы предприниматель, имевший концессии на добычу бакинской нефти и заработавший на этом многие миллионы, а главное, купивший патент на изготовление динамита у двух русских инженеров (которые у себя на родине не могли реализовать свое изобретение), на чем нажил огромное состояние, стал несметно богат и завещал основать «Нобелевский комитет», который на проценты с этого капитала ежегодно выдавал Нобелевские премии за наиболее выдающиеся и важнейшие исследования в области точных наук и за лучшие произведения изящной словесности, а теперь еще и социальные. Комитет этот всегда возглавляет шведский король.

Самой большой достопримечательностью в нашем детском восприятии был лежавший на самом берегу Волги, на границе Норского посада и фабрики, огромный камень (наверное, гранит) пирамидальной формы, темно-сизого цвета. Возможно, что в доисторические времена он был предметом культа для наших далеких предков. В летнее время мы с Марусей, обязательно под присмотром взрослых, совершали к нему прогулку, тщетно пытаясь залезть на вершину. А рядом сверкала и переливалась Волга; часто проходившие пароходы поднимали волны, которые, шурша по гальке, подкатывались к подножию камня.

Другим «аттракционом», привлекавшим наше внимание, была так называемая «самотаска», казавшаяся нам чудом техники. Тогда, в наши детские годы, по реке непрерывным потоком шли караваны плотов с верховьев Волги, Шексны и Мологи. Какая-то часть останавливалась иногда у Норской фабрики. Назначение самотаски, состоявшей из рамы на колесах и каната, было доставлять бревна к стоявшему в отдалении лесопильному заводу. Под уклон к реке самотаска стремительно неслась по рельсам и с шипеньем погружалась в воду. Поджидавшие плотовщики быстро накатывали на нее бревна раскрепленного плота и самотаска медленно, как бы нехотя, с трудом тащилась вверх, роняя блестевшие на солнце капли воды. Бревна предназначались для небольшого лесопильного цеха, снабжавшего паровые двигатели фабрики топливом. Эта самотаска казалась нам с Марусей чудом техники. Минут через 10-15 все повторялось снова, а мы могли без конца любоваться этим зрелищем.

На склоне полузасыпанного оврага, по которому были проложены рельсы самотаски, росла огромная черемуха, а рядом – низенькие кустики голубых фиалок с нежным тонким запахом, которые мы дарили маме. Но это я перешла уже к описанию самих окрестностей Норского и фабрики, которые, правда, с Волгой связаны нерасторжимо.

*Норское и Норская фабрика*

На крутом берегу Волги в 12 км. выше по течению от Ярославля раскинулся Норский посад, похожий на маленький провинциальный городок. Название свое он получил от реки Норы, впадавшей в его пределах в Волгу. В XVI веке он назывался Ловецкой рыбацкой слободой, а в XVII – Царской Норской слободой, поставлявшей стерлядей и осетров к столу Алексея Михайловича. Административно Норское разделялось на две неравные части. Три четверти его территории занимал Норский посад (поселок городского типа); жители его были приписаны к мещанскому сословию, т.е. никогда не были крепостными, чем страшно гордились. В посаде было три церкви.

Вторая часть Норского (с церковью Михаила Архангела) была селом, а жители его – крестьянами, которые сравнительно недавно состояли в крепостной зависимости от помещиков, чьи имения находились сзади Посада, вверх по течению Норы. В мое время от одного из имений уцелел чудесный липовый сад. Кроны его высоких деревьев в летние месяцы сплетались так, что внизу всегда было полутемно и прохладно. И часто вспоминался Пушкин: «И сумрак липовых аллей»... От помещичьего дома остался только полуразрушенный фундамент, а на склонах к речке был, очевидно, ягодный сад: там росли одичавшие малина, крыжовник и смородина. Рядом с липовым садом находилась хорошо утрамбованная площадка, где летом устраивались танцы под звуки жиденькой гармоники. Жители Норского посада свысока относились к крестьянам, называя их полупрезрительно «селева». Пишу это для того, чтобы показать, как четко ощущалось в дореволюционное время классовое разделение населения.

На самом высоком холме при впадении Норы в Волгу (он, кстати, был ближайшим к фабрике) стоит Никольская-Троицкая церковь. Все дети семейства Петровых (в том числе и я) были крещены в этой церкви.

На этом же холме, как я неоднократно слышала в детстве, в доисторические времена находилось поселение какого-то племени. Это предание имеет вполне реальное объяснение. Во время высокого половодья большие льдины и мощные волны размывали холм на достаточно высоком уровне, образуя иногда неглубокие впадины. Когда вода спадала, в этих впадинах жители Норского обнаруживали множество костей, черепа медведей, и не только медведей... Мальчишки брали их и бросали в Волгу. Все это наполняло мою детскую душу ужасом.

На окраине Норского посада, ближе к Ярославлю стояли здания Норской фабрики. Хочу сказать несколько слов об истории фабрики и ее владельцах. Норскую мануфактуру (как тогда называли) основал в середине XIX века богатый купец-старообрядец Герасим Иванович Хлудов, который около 1850 года приобрел обширный земельный участок на высоком берегу Волги. Он построил фабрику по английскому проекту, снабдив ее английским оборудованием, которое на первых порах обслуживалось английскими инженерами. (Его старший брат Алексей Иванович Хлудов был известным обладателем ценнейшего собрания древнерусских книг и рукописей, которое завещал Никольскому единоверческому монастырю, и всю жизнь посвятил воссоединению православного и раскольнического вероучения. Но это, так сказать экскурс в сторону и прямого отношения к фабрике не имеет). У Герасима Ивановича был единственный сын, известный в Москве дебошир и пьяница. Его довольно подробно описал в своей книге «Москва и москвичи» В.Гиляровский. Однако этот неудачный наследник, державший дома крокодила и пугавший им своих гостей, рано умер, и наследницами Норской фабрики стали три его красивые сестры, дочери Хлудова – Прасковья, Александра и Любовь Герасимовны. Старшая вышла замуж за Константина Константиновича Прохорова, сына владельца

Трехгорной мануфактуры в Москве. У К.К. был большой капитал и особнячок на Воронцовом поле (теперь ул. Обуха). А вторая – за Найденова, которому принадлежал большой парк и усадьба на реке Яузе в черте города (теперь санаторий «Высокие горы») и особняк на Покровском бульваре. Младшая – за Вострякова, имевшего великолепный особняк на Б.Дмитровке и имение под Москвой (Востряково). По неизвестной мне причине отец К.К.Прохорова завещал «Трехгорную» племяннику, а не сыну; из-за этого взаимоотношения между двоюродными братьями были неприязненными.

Итак, фабрикой Хлудова стали владеть его дочери с мужьями, основавшими «Товарищество Норской Мануфактуры», с Правлением, которое находилось в Москве. Из всех дочерей мы знали только Прасковью Герасимовну, приезжавшую на фабрику на два летних месяца со своими внуками Катей и Митей Чистяковыми, с которыми мы дружили. Их отец, полковник лейб-гвардии ее величества стрелкового полка, затем генерал, организовал в начале революции ограбление своей тещи-миллионерши.

С представлением о промышленных предприятиях того времени связывались некрасивые, унылые здания, грязь, железный лом, промышленные отходы, жалкие жилые постройки. Норская фабрика была в этом отношении счастливым исключением. И недаром А.В.Луначарский, приезжавший в Ярославль в 1918 году, назвал ее, законсервированную из-за отсутствия топлива, «спящей красавицей», которую рабочий класс должен пробудить к жизни (это я слышала сама).

Сама фабрика представляла собой замкнутый огромный кирпичный квадрат (с двумя въездами под вторыми этажами во внутренний двор) и как бы брала себя «в скобки». Рядом же были величавая Волга с крутыми зелеными берегами, аллеи, два больших сада, несколько рощ (в одной из них около полузасохшего пруда росли удивительно крупные незабудки). Сразу же за деревянным бесконечным забором, окружавшим фабрику, были прелестные березовые рощи, темный еловый лес, журчали ручьи. И мы наслаждались всем этим, почти не обращая внимания на фабрику. Физическое ощущение от нее было у меня, например, только по воскресеньям и праздничным дням, когда она не работала; и ушам, привыкшим к ее ровному и мягкому шуму, как будто чего-то недоставало.

Великое множество ласточек сооружало свои гнезда на окнах второго и третьего этажей фабрики. Материалом для них служил «угар» – отходы от хлопка. Сидя за вечерним чаем на террасе, мы наблюдали, как ласточки с тонким свистом сновали во всех направлениях в поисках корма для птенцов. Если летали высоко, это означало, что завтра будет хорошая погода, а если близко к земле -то это к дождю. Что обычно и сбывалось.

Сообщение Норского с городом летом было очень приятным – на курсирующих несколько раз в день небольших пароходах, так называемых «дачниках», а круглый год – на лошадях по «большой дороге», обсаженной в четыре ряда старыми екатерининскими березами, о которых упоминала Маруся в своем стихотворении «Сказка», посвященном мне.

И от заставы Ярославской
До Норской фабрики, до нас,
Двенадцать верст морозной сказкой
Под звездным небом в поздний час.
.....
Пустырь кругом, строенья редки.
Темнее ночь, сильней мороз.
Чуть светятся седые ветки
Екатерининских берез.
.....

На воротах фабрики красовался медведь с секирой на плече – герб Ярославской губернии. Легенду о его (герба) происхождении мы, разумеется, знали с ранних лет. От

ворот по направлению к фабрике вели две параллельные аллеи, с всегда аккуратно подстриженными деревьями. В центре фабричного двора – большая роща. По краю высокой набережной Волги росли березы, осины, липы, кустарник. Около каждого дома служащих был обязательно небольшой сад с цветами, кустом сирени или жасмина, иногда 2-3 дерева, а также небольшие грядки с морковью, луком и другими овощами. Везде царил идеальный порядок и чистота. Только около казарм (семейных общежитий рабочих) постоянно висело на веревках белье и стояли поленницы дров. К югу и западу тянулись леса, поля, перелески. А на восток далеко-далеко простиралось прекрасное Заволжье с редкими селениями.

Близость реки, постоянный западный ветер и обилие зеленых насаждений делали воздух на фабрике настолько чистым (несмотря на постоянно дымившую высокую трубу), что зимой наша прачка расстилала простыни в огороде на снегу, чтобы они стали еще белее.

Вообще экологическая обстановка, как сказали бы теперь, на фабрике была почти идеальной. Это объяснялось тремя факторами: 1) непосредственная близость великой русской реки – так называли тогда Волгу; 2) обилие зеленых насаждений; и 3) ветер был всегда западный, уносящий дым высокой фабричной трубы за реку, в заволжские дали, вплоть до самого горизонта.

Территорию Норской фабрики пересекали два мелких и два глубоких оврага, густо поросших деревьями и папоротником с безымянными ручьями, бегущими к Волге. Через них были перекинуты легкие голубоватые мостики. Летом они оглашались многоголосьем различных птиц, а пенье соловьев вызывало у Маруси и у меня какой-то восторженный особый трепет. Может быть, это глубокое детское впечатление отразилось в создании ее стихотворения «Соловей».

*Наш дом*

Почти рядом с южным оврагом стоял дом, в котором жила наша семья. Помню рассказы старших о том, что он был построен из дерева какой-то особенно прочной породы (м.б., кедра, или дуба). Снаружи здание обшито тесом, окрашенным в блеклый серовато-зеленый цвет. По стенам вокруг – тщательно ухоженный кустарник с кисточками мелких белых цветов, название которых забылось. При въезде во двор справа находился большой огород, а слева – довольно обширный сад, окружавший дом с трех сторон. Там росли два огромных кедра, клены, липы, березы, где мы искали и находили грибы, которые нам с Марусей жарили на маленькой сковородке. Там же на небольшой поляне были качели, трапеции и чуть подальше гамак. Решетчатый забор сада прикрывали акация и жасмин. Огромный куст лиловой сирени возвышался над трехугольной клумбой с чудесными розами (на зиму на них надевали деревянные домики в виде усеченных пирамидок). Перед террасой среди газона в центре круглой клумбы стоял белый столб с насаженным на него большим зеркальным шаром, отражавшим сад, что казалось в детстве особенно красивым.

Множество цветов пестрело на клумбах различной формы. Первыми распускались многолетние голубые подснежники с чудесным тонким ароматом, за ними – синие и лиловые ирисы, затем в длинных ящиках приносилась рассада, которая прямо на глазах превращалась в бархатистые анютины глазки, резеду, левкои, благоухающий вечерами табак... да всех невозможно и перечислить. Последними, осенними были астры и георгины, которые красовались своими яркими головками до самых заморозков. Вот стихотворение Маруси «Сон», посвященное мне и навеянное воспоминанием о нашем саде и доме:

Да все реже и уже с трудом
Я припоминаю старый дом
И шиповником заросший сад -
Сон, что снился много лет назад.
А ведь стоит только повернуть,
Только превозмочь привычный путь -
И дорога наша вновь легка,
Невесомы наши облака...

Побежим с тобой вперегонки
По крутому берегу реки.
Дом встречает окнами в упор.
Полутемный манит коридор...
Дай мне руки, трепетанье рук...
О, какая родина вокруг!

В нашу детскую не смеет злость.
Меж игрушек солнце обжилось.
Днем зайчата скачут по стенам,
Ночью – карлик торкается к нам, –
Это солнце из-за темных гор,
Чтобы месяцу наперекор.

В спальне – строгий воздух тишины,
Сумрак, превращающийся в сны,
Блеклые обои, как тогда,
И в графине мертвая вода.
Грустно здесь, закроем эту дверь,
За живой водой пойдем теперь.

В кухню принесем ведро невзгод
На расправу под водопровод,
В дно ударит, обожжет края
Трезвая, упрямая струя,
А вокруг, в ответ на светлый плеск -
Алюминиевый лютый блеск.

В зал – он весь неверию ответ,
Здесь корректно радостен паркет,
Здесь внезапные, из-за угла,
Подтверждающие зеркала.
Поглядись, а я пока пойду
На секретный разговор в саду.

Преклоню колени у скамьи:
Ветры, покровители мои!
Долго вы дремали по углам,
Равнодушно обвевали хлам.
О, воспряньте, авторы тревог,
Дряхлые блюстители дорог,
Вздуйтесь гневом, взвейтесь на дыбы,
Дряхлые блюстители судьбы!..

Допотопный топот мне вослед
Пышет ликованьем прежних лет.
Это ветры! Судорга погонь
Иль пощечин сладостный огонь.
На балконе смех порхает твой.
Ты, зачем качаешь головой?
Думаешь, наверно, что, любя,
Утешаю сказками тебя.
Детство что! И начинаешь ты
Милые, печальные мечты.

Мы с тобою настрадались всласть
Видно молодость не удалась,
Если в двадцать два и двадцать пять
Стали мы о старости мечтать.
В темной глубине зрачков твоих
Горечи хватает на двоих,
Но засмейся, вспомни старый сад...
Это было жизнь тому назад.

1930

За садом и огородом ухаживал престарелый садовник, Николай Андрианович, похожий на Николая-угодника, каким его изображали на иконах, со своей маленькой полной женой.

Раньше под окнами маминой комнаты была оранжерея, уходившая глубоко в землю, с длинными многоступенчатыми полками, на которых стояли цветочные горшки, ящики с рассадой. Моим любимым, но, безусловно, запрещенным занятием было спускаться из окна по решетчатой крыше оранжереи вниз на землю. Однажды я оступилась, пробила стеклянную раму и с отчаянным ревом покатилась с одной полки на другую, увлекая с собой горшки с растеньями, черепки и ящики с землей. На мой крик сбежались взрослые. Всю окровавленную внесли в дом. Вызвали по телефону фабричного врача, тот долго извлекал многочисленные осколки, а большой шрам на левой коленке на всю жизнь остался напоминанием о моих отчаянных похождениях.

После этого случая оранжерею снесли, и в огороде появилось множество заменявших ее парников. На месте оранжереи разбили, как мы его называли, «мамулин сад», с ее любимыми, высокими, морозостойкими розами «Царица Севера», жасмином и сиренью. Рядом был наш с Марусей крошечный огород, с которого, как правило, мы никаких урожаев не снимали из-за нашего небрежного ухода, вернее, его отсутствия.

Ниже сада за низким заборчиком находилась крокетная площадка, окруженная акацией, сиренью и молодыми сосенками, где попадались рыжики и маслята. Там же играли в горелки, пятнашки и другие подвижные игры. Крокет я не очень любила: из-за малого возраста молоток был для меня тяжел, и удар по шару, а тем более, рокировка у меня не получались.

В сторону оврага находился хозяйственный двор с коровником, курятником, где жили также утки и индейки, загончик для поросят, и тут же вторая кладовая и погреб. В конце зимы его набивали сказочно красивыми, голубыми прозрачными кубами льда, который привозили с Волги могучие, густогривые тяжеловозы с мохнатыми ногами и огромными копытами.

На фабрике имелся большой конный двор, где, кроме лошадей для перевозки тяжестей, были и легковые, на которых ездили в Ярославль в гости или в церковь в Норский посад. У отца было две упряжки – одна караковая и другая (более, видимо, парадная) серая в

яблоках. Запомнился случай, как какой-то тучный немолодой человек в дворянской фуражке остановился в городе около пары караковых и сказал «Хороши! Хороши кони! Чьи это?» Наш кучер Ларион ответил. «Да, хороши», – повторил старик и пошел своей дорогой. Может быть, это был отставной кавалерист или просто помещик, имевший лошадей.

Надо сказать, что лошади – единственный транспорт в зимнее время – были и на самой фабрике преотличные: было много битюгов, могучих, с густой длинной гривой и огромными мохнатыми копытами. Они предназначались, главным образом, для перевозки готовой продукции фабрики на Ярославский вокзал, а также огромных кубов чистейшего льда для заполнения ледников. (Холодильников тогда и в помине не было.)

Вернусь к нашему дому. Как говорили родители, планировка его не была удобной. Из небольшой темной передней (освещавшейся сначала керосиновой, а потом и электрической лампой) шел, разделяя дом на две половины, довольно широкий коридор с тремя парами колонн, закруглявшихся наверху. Он заканчивался большим и светлым залом, где нам разрешалось играть в дневное время. По обе стороны коридора шли двери в изолированные комнаты, только наша – Марусина и моя – соединялись дверью со смежной комнатой. В нашей детской были моющиеся обои, что тогда было новинкой и вызывало всеобщее удивление. Большое (так называемое «венецианское») окно выходило на парадный двор. Поэтому мы первые видели всех, кто подходил или подъезжал к крыльцу, и спешили оповестить взрослых. В соседней с нашей комнате жила старшая сестра. За ней следовали комната отца и его рабочий кабинет, а затем столовая с чугунной винтовой лестницей, которая вела в большую комнату братьев. Кататься, сидя верхом на полированных перилах, было моим самым большим, но, конечно, запретным удовольствием. Изредка, удостоверившись, что старших поблизости нет, я поднимала и сажала маленькую Марусю на последние полтора аршина перил и подхватывала ее, когда она докатывалась до конца. Кажется, это всегда сходило мне с рук.

Продолжаю описание расположения комнат: первая дверь направо от передней вела в гардеробную, а из нее в кухню, посудомойку, прачечную и две комнатки для прислуги. Ванная комната тоже находилась за гардеробной. Следующей по коридору была мамина комната с красивым трюмо и маленьким письменным столом, затем гостиная с камином и большой медвежьей шкурой-ковром на полу перед ним. Дальше был зал с дверями на террасу. Пол везде был паркетный (за исключением детской), крупными квадратными шашками. Два раза в месяц приходили фабричные полотеры. Нам доставляло большое удовольствие смотреть, как они, надев щетки на ноги, ловко «плясали», доводя пол до красивого блеска (но только нас с Марусей на это время обычно загоняли в нашу детскую).

Комната братьев заметно отличалась от других своей меблировкой. На стенах висели большие таблицы: коренные слова с буквой «ять», умножения; географические карты. В углу стоял верстак для столярных работ и маленький – для слесарных. В летние месяцы к братьям приходил специальный учитель, но способностей к рукомеслу ни один из братьев не обнаружил и занятия были прекращены.Позднее верстак служил Марусе и мне для наших игр. В этой просторной комнате стояли большие шкафы – один с детскими книгами и другой – с отжившими свой век вещами. Правая дверь из комнаты вела на чердак, который вдохновил Марусю на стихотворение «Чердак», посвященное мне. А дверь напротив – на длинный и узкий балкон. В детстве я могла с замираньем сердца, без конца смотреть с него на Волгу и на уходящие далеко-далеко до горизонта голубеющие и лиловеющие дали. И сейчас эта ярко сохранившаяся в памяти картина сочетается для меня подсознательно с одним из лучших Марусиных стихотворений – «Черта горизонта».

Наш дом с участком стоял на фабричном участке изолированно и существование семьи было тоже довольно замкнутым. Жизнь наша была ни в коем случае не городской, но и не фабричной, а, скорее, мелкопоместной.

*Наша семья*

Она состояла из семи человек («семь я», – говорил иногда в шутку папа): отец, мать, – затем, в порядке старшинства: Елена, Николай, Владимир, Екатерина и Мария (или, скороговоркой – Ле-Ко-Во-Ка-Ма).

*О моем брате Александре Сергеевиче и сестре Леле*

Шурик родился в 1902 году, на год раньше меня и поэтому я пишу о нем только по воспоминаниям родственников и домочадцев. Он был очень спокойный, улыбчивый и милый младенец. И вдруг он заболел, заболел неизлечимой тогда болезнью – менингитом. Как я слышала от взрослых, болезнь могла быть вызвана безрассудным поведением его молоденькой няньки, которая по ночам, когда весь дом засыпал, брала девятимесячного младенца и, крадучись, уносила его в казармы (семейные общежития рабочих фабрики), где весело проводила время среди фабричных подружек. Мама была убеждена, что она или стукнула его головкой, или простудила, или заразила во время ночных отлучек.

Болезнь проходила бурно, он непрерывно кричал (это тот ребенок, который до этого был очень тих). Мама держала его на руках, носила по залу, не отпуская, она думала облегчить его боль, но, конечно, это не помогало. Врача из Ярославля выписали, он посмотрел и подтвердил диагноз: менингит. Так он мучился и мама с ним мучилась, и он, в конце концов, погиб. А его старшая сестра Леля, когда Шурик умер и мама сидела около него в зале у гробика и плакала, то ли из ревности, то ли из других чувств (она вообще имела привычку бросаться на пол и бить ногами, когда что-то было не по ней) врывалась в зал, бросалась на пол и била ногами. Мама просила ее убрать. Ее убирали, она вырывалась, и снова эта сцена повторялась без конца. Мама терпела, терпела, а потом взмолилась: Господи, ты отнял у меня моего дорогого мальчика, а эту капризницу и упрямую девчонку оставил. И Леля, которой тогда было пять лет, запомнила эти слова и маму невзлюбила. Уже позднее, когда ей было лет 12, а мне 6-7, бабушка сказала мне: «Леля не любит маму». Я долго и горько плакала и даже записала это в своем детском дневнике, но вот почему не любит – я очень долго не знала. Только за неделю до своей смерти она рассказала мне этот эпизод о смерти Шурика, своих криках и мольбе к Богу мамы. Оказывается, она все это запомнила, до самой смерти не простив маму...

Не знаю почему, но они с мамой постоянно конфликтовали, Леля в своей комнате плакала и выходила к обеду с опухшими от слез глазами. Что между ними происходило, я не знаю, поводы были, наверно, разные, но в основе лежало, видимо, Лелино упрямство и желание мамы переломить его. Леля была вообще очень упряма. Вначале конфликты возникали из-за Лелиных неуемных требований насчет нарядов: вот такое ей платье надо, а не другое. Потом она начала влюбляться. С самых ранних лет, лет с 12 влюблялась в гимназистов.

А мама была очень высокоморальная дама (сказывалось епархиальное воспитание), она считала, это нехорошо и неприлично, что с таких ранних лет дочь уже влюбляется и целуется на бульваре с мальчиками. Вот на этой почве тоже возникали конфликты. Дело кончилось тем, что классная дама застала Лелю на бульваре, целующейся с каким-то гимназистом, пресекла эту любовную сцену, потащила ее к начальнице заведения и та исключила Лелю из гимназии за аморальное поведение. Дома было ужасно: Леля рыдала, мама тоже рыдала и кричала: «Испорченная девчонка, как ты смела целоваться, сколько тебе лет, чтобы целоваться?» Дома был сплошной ад. Тогда папа заказал лошадей, поехал в Ярославль к начальнице гимназии Ольге Николаевне Корсунской, переговорил с ней (о чем и как, никто из нас не знал, но только Лелю восстановили в гимназии и она продолжила ученье). История эта не получила широкой огласки, мы старались об этом не говорить, во-первых, чтобы не наводить тень на гимназию, а во-вторых, и на сестру. После этого Леля сохранила чувство благодарности к отцу, но в ее отношения с мамой это внесло еще большее напряжение.

*О моем брате Николае Сергеевиче Петровых*

Вторым ребенком в семье был сын Николай. Вот что запомнилось мне в связи с его появлением на свет, по рассказам старших.

Мама еще лежала в постели, очень грустная, и плакала. Что было причиной ее слез, она, наверное, и сама не могла объяснить. Может быть, материнское сердце смутно предчувствовало несчастную, трагическую судьбу ребенка, маленького существа, только что отделившегося от нее. (Эта ее способность провидеть будущее своего сына особенно поразила меня после кончины Коли).

В это время пришла навестить ее подруга детства Антонина Ивановна Курочкина. Увидев плачущую маму, с удивлением спросила: «О чем ты?!» Мама ответила первое, что пришло в голову: «Боюсь, что на всех хлеба не хватит.» – «Да побойся Бога, – воскликнула Антонина Ивановна, – Россия столько хлеба вывозит за границу. Как же у нас может быть такое?» Но через 22 года (1918-1920 гг.) Антонина Ивановна с удивлением говорила: «И как же это она могла угадать, что в России может быть голод!» А я, повторяю, убеждена, что с маминой стороны это была просто первая пришедшая на ум отговорка, так как она сама, видимо, не понимала причину того, что вызывало тревогу за будущее сына.

Ребенок был полный и спокойный. Пожилая няня называла его «саратовским купцом». Но позднее родители и бабушка стали замечать повышенную нервозность мальчика. Например, когда его брали на руки, он неестественно выпрямлялся, как бы окаменевал, не поддаваясь ни на какие ласковые слова и уговоры старших.

Коля был самым красивым и способным ребенком в семье (исключая, разумеется, поэтическую одаренность Маруси). Гувернантка Марья Петровна наказывала Лелю и Володю за допущенные ошибки на уроках: она уводила их в лес, клала на большой пень и стегала розгами. Благодаря своей прекрасной памяти Коля никогда не подвергался наказаниям. Но, может быть, на его нервную систему и добрую натуру болезненно действовал плач сестры и младшего братишки. Когда же дети решились, наконец, рассказать родителям о «педагогическом методе» Марии Петровны, ей в тот же день было отказано от места.

Под руководством фрейлейн Иды, заменившей М.П., Коля быстрее всех овладел немецким языком. Впрочем, вскоре и все остальные начали общаться друг с другом только по-немецки, чем очень радовали родителей, особенно отца.

Обоих мальчиков отослали в Ярославское реальное училище. Николай неизменно был первым учеником и всегда получал похвальные грамоты. Помню, как вечный пересмешник Володя изображал согнутую фигуру старшего брата, смущенно пробиравшегося на свое место под звуки туша, с похвальной грамотой в руках. Владимир же был с большой ленцой, хотя, по словам Лели, способнее Николая. Однажды он даже имел переэкзаменовку по русскому языку – событие в нашей семье небывалое.

Во время пребывания в реальном училище Коля начал заикаться. В первое же каникулярное лето мама повезла его в Москву и поместила в частную лечебницу, где исправляли дефекты речи. Помню, что в ней брата долгое время заставляли молчать, затем начать говорить очень медленно, растягивая слова. Совсем Коля не излечился, но заикаться стал реже, стал быстрее находить синонимы словам, на которых он запнулся.

После окончания семи классов реального Коля решил поступить в университет. Но для этого требовался аттестат зрелости классической гимназии, где проходили латынь. Брат все лето просидел над нею и осенью успешно сдал этот экзамен (не знаю, где), получив, таким образом, право на поступление в университет по конкурсу аттестатов.

Леля, окончив 8 классов частной гимназии, уехала одновременно с Колей в Москву и поступила на Высшие Голицинские курсы на Моховой улице. А Николай – на химический факультет университета. Учился он на одном курсе, может быть, даже в одной группе с А.Н.Несмеяновым – будущим президентом академии. По окончанию учебы брат стал работать на текстильной фабрике, где занимался разработкой красителей.

Во время гражданской войны и разрухи, прервав на время учение, Коля приехал в Ярославль, чтобы помогать родителям, работал санитаром в госпитале, удивляя врачей своей феноменальной памятью. А со мной он ездил за картошкой и хлебом в Вологодскую губернию. Я уже служила тогда на ст. Всполье, чтобы иметь «провизионку» для проезда за продуктами, а также, чтобы получить необходимый для направления в высшие учебные заведения трехгодичный рабочий стаж. Оба мы жили вместе в отвратительной, темной и холодной комнате. И так мерзли, что решили однажды натопить помещение, поставив в нем самовар. Тепла это в достаточно большую комнату не прибавило, но угорели мы оба почти до полусмерти. Спали, конечно, в одежде. Трудно было утром вылезать из-под груды всех наваленных сверху пальто и шуб в комнату с нулевой температурой и умываться ледяной водой. А я, кроме того, иногда зарабатывала, путешествуя в теплушках, и педикулез, который всегда грозил осложниться сыпным тифом.

Весной 1921 года отец перешел на работу на авторемонтный завод на окраине Ярославля, получил там четырехкомнатную квартиру, и мы с Колей зажили в нормальных (относительно, конечно) условиях. Гражданская война близилась к концу, и вскоре Николай уехал в Москву продолжать обучение в университете. До этого он сблизился с младшей сестрой Марусей, на которую до этого не обращал пристального внимания. Она при расставании посвятила ему стихотворение.

Приехав в Москву, Коля остановился у брата Володи (Тихвинский пер., д. 8, кв. 23). Там в двух крохотных комнатушках жили 4 студента-путейца: Володя, Василий Павлович Прилежаев, Борис Чистяков и Вячеслав Бирюков (моя тайная, ото всех скрываемая и, главным образом, от него, вполне надуманная любовь). Бывшая хозяйка квартиры устроила Колю в комнату своего сына-юриста, старого, угрюмого холостяка. А когда я осенью 1924 года приехала в Москву, то сначала ютилась там же, в проходной комнате, с бывшей хозяйкой. Но уже очень скоро перебралась в квартиру архитектора С.Б. Залесского в Гранатном переулке, где поселилась в порядке «самоуплотнения». В то время был такой термин. Это когда люди, имевшие излишки площади, сами находили себе жильцов из числа знакомых и родственников, чтобы избежать принудительного подселения в их квартиру совсем незнакомых, а иногда и крайне неприятных особ. Так что Залесские выбрали из всех зол меня, а позднее ко мне присоединилась и Маруся. В этой восьмиметровой комнате я прожила целых 14 лет, т.е. до выхода замуж за В.В. Чердынцева.

Как-то я познакомила Колю с подругой Иды Бородкиной, очень красивой, но несколько полноватой девушкой. Звали ее Люба. Жила она в стесненных квартирных условиях вместе с мачехой, которая ее всячески притесняла. Коле Люба нравилась, но увлечения никакого не было. И все же, чтобы отблагодарить меня за то, что я познакомила его с красивой девушкой, он пригласил меня в Большой театр (билеты в то время купить было просто) на «Князя Игоря».

А теперь перехожу к одной из самых трагических страниц жизни нашей семьи. Еще будучи студентом, Коля стал увлекаться учением Макса Штирнера, предшественника Ницше, книгу которого «Единственный и его собственность» он едва ли не знал наизусть. Философия Штирнера была прямо противоположна всей натуре Коли. Брат был чрезвычайно добрым человеком, в высшей степени порядочным, очень стеснительным, с глубоко развитым чувством благодарности (гены рода Петровых).

Вот что пишет Брокгауз о М. Штирнере: «Философ-идеалист, один из представителей младогегельянства, идеолог индивидуалистического мелкобуржуазного анархизма. Исходным мировоззренческим пунктом Ш. является идеалистический тезис самосознания, как творческой силы истории. Штирнер приходит к выводу, что самосознание должно быть понято не просто как человеческая личность, а как данная моя единственная личность, являющаяся для самой себя высшей реальностью, высшей ценностью и самоцелью. Штирнер утверждал, что право, законы, государство, общество, мораль, семья, любовь и вообще все идеи, принципы, установления являются

«призраками», препятствующими реализации внутреннего, индивидуального, неповторимого «я» человека. Частная собственность рассматривается им как необходимая форма реализации «я». Воспевая эгоизм как единственно разумную точку зрения, Штирнер отвергал с позиций анархического бунтарства идеологические «святыни» развивающегося в Германии капитализма». И вот еще две цитаты о Штирнере из Брокгауза: «Абсолютное «я» Фихте превращается у него в индивидуальное и отождествляется с эмпирической личностью, которая, таким образом, получает значение единственной и абсолютной реальности... Право человека преследовать свои интересы безгранично. Таким образом, полное отрицание какой бы то ни было нравственности и совершенная анархия – вот главные черты учения Штирнера». Маркс сначала интересовался этим учением, а позднее вместе с Энгельсом резко разгромил его философию. В БЭС говорится: «Штирнер воспевал эгоизм как единственно разумную точку зрения».

Как же мы были глупы и неразумны тогда: никому из нас не пришло в голову познакомиться с книгой Штирнера, чтобы понять всю неприемлемость, всю противопоказанность этого учения для Коли с его мягким, уступчивым, очень застенчивым характером. Может быть, больше сблизились бы с ним и сумели бы доказать ему это. Но все были заняты своими делами, а он в это время безжалостно ломал себя, пытаясь приспособить свою личность к этой жестокой немецкой философии.

Не нравилась ему и его работа на фабрике. В это же время было не очень удачное увлечение и полная житейская, т.е. квартирная неустроенность. Свободное время он проводил в маленькой комнате уже женатого тогда брата Володи. Иногда он говорил о самоубийстве, как способе доказать свою «свободу», что мы всегда встречали в штыки, не допуская и мысли, что он при своем слабовольном, нерешительном характере способен сам перейти эту «последнюю черту».

Но в страстную субботу (27.IV.1927 г.) он, поспорив, как это довольно часто бывало, с Володей, (который мыл в это время ноги) об учении Штирнера, вышел из комнаты, прошел в запущенную ванную и принял там достаточную дозу цианистого калия. Вызванная «неотложка» не успела довезти его до Института Склифософского... Так этот «на сердце горящий шрам» и остался у всех у нас.

Незадолго перед своим концом он купил хорошую коробку шоколадных конфет и, улыбаясь, сказал: «Вот пойду на Пасху похристосоваться с Любочкой». Этот незначительный факт говорит о том, что у него не было заранее продуманного решения покончить с собой. Оно возникло совершенно импульсивно, так как их ссора и разговор с Володей были совершенно для них обычными и ничем особенно не выделялись.

*Маруся и я*

У меня, разумеется, и в мыслях нет сравнивать себя с великим Толстым, который помнит, хотя и смутно, ощущение пеленания. (Это вспомнилось позднее). А вот что всплыло о моем детстве в виде кадров (обязательно цветных).

**Кадр первый:** Я лежу в маленькой детской кроватке с железными перильцами, на которые надета частая сетка из мягкого шнурка и громко (отчего-то) плачу. Надо мною склоняется мама. На ней английская блузка с вязаным галстуком, который заканчивается небольшими кисточками. Кисточки раскачиваются над моими глазами и пугают меня, отчего я плачу еще громче. Мама тщетно пытается успокоить меня, не понимая причину моих усиливающихся криков...

**Кадр второй:** Я долго не могла научиться ходить, но очень быстро и ловко ползала, поддавая для ускорения (так мне рассказывали, смеясь, мои братья) усиленным движением ноги. Я ползу в маминой комнате, на мне розовое в крупную красную тонкую клетку платье, и смотрю на висящую в углу «золотую» икону мученицы Фаины – патронессы матери.

**Кадр третий:** Старшая сестра Леля учит меня ходить. Взяв под мышки, приговаривает: «раз-два, раз-два», я в такт передвигаю ножками.

**Кадр четвертый:** В той же маминой комнате бабушка кормит меня из чашки яйцом всмятку за столом у окна.

**Кадр пятый:** Относится к нашему путешествию в санаторий. Мы все четверо (Маруси еще не было) одновременно заболели коклюшем, вероятно, заразившись друг от друга. Врачи посоветовали перемену климата и порекомендовали наиболее сухой, в западных предгорьях Урала. Мама с Лелей, Колей, Володей и мною взяла еще в помощь фрейлейн Иду и горничную (то есть, всего семь человек) и двинулась пароходом до Казани (или до Тетюшей). Очевидно, боясь холеры, которая часто вспыхивала в низовьях Волги, мама кормила нас преимущественно сухарями, взятыми из дому. Когда они кончились, мы стали плакать от голода, и тогда мама купила несколько огромных отбивных котлет, (которые предварительно, наверное, прожарила еще раз в походной кухне) и мы, как маленькие зверьки, с наслажденьем жадно впились в них зубами. Вкус этой котлетки и, главное, косточка, за которую ее надо было держать, запомнились мне на всю жизнь.

День появления Маруси на свет (13.03.08. ст.ст.) помню, как будто это было совсем недавно. Утром в детскую вошла фрейлейн Ида со словами: «Кто хочет посмотреть на маленькую сестричку, – идите в столовую». Старших – сестру и братьев – не надо было торопить; через несколько минут они были готовы и выбежали из комнаты. А я тщетно искала свои ночные туфли (как сейчас помню, светло-серые, с меховыми помпонами) и отчаянно рыдала: «Фрейлейн Ида! Во зинд мейн пантоффельн? Во зинд мейн пантоффельн?!» Ида посмотрела под кроватку и тоже не обнаружила туфель. Тогда меня, горько плачущую, она завернула в мое любимое красное стеганое одеяльце (слезы мгновенно высохли) и на руках понесла в столовую. Там, по правой стене, на двух стульях стояла большая овальная плетеная корзина. В ней спало туго спеленатое, крохотное, беленькое (именно беленькое) существо. Наверно, оно досматривало свои последние ангельские сны – такой тихий и совершенный покой был на маленьком личике. Старшие дети молча, сосредоточенно и серьезно смотрели на новую сестричку.

Через несколько дней я зашла в мамину спальню, где царил полумрак от тяжелых темно-зеленых штор, подошла к кровати и спросила: «А как будут звать маленькую сестричку?» – «Мария, Маруся», – ответила мама. «А мне больше нравится Анюта», – протянула я разочарованно.

Ярко запомнился кадр из раннего детства. Маруся, видимо, только из ванночки, вся какая-то особенно чистенькая; белый чепчик туго обтягивает головку. Она сидит на высоком стульчике. Ясные карие глазки смотрят на меня. Я шепчу ей что-то ласковое, а она, не умея говорить, приветливо улыбается мне.

Маруся была самым младшим (пятым) ребенком в семье и общей любимицей. Внешность ее была очаровательна: правильный овал личика, карие глаза, хорошей формы носик; крупные легкие локоны цвета недоспелой пшеницы как бы парили над ее головой. Нельзя было не любоваться ею. Старшие, кроме отца и бабушки, выделяли ее изо всех детей, часто брали на руки, ласкали, играли ее кудрями.

В одном из поздних стихотворений Мария Сергеевна напишет о «безоглядном любвеобилии детства».

Первой сильной привязанностью Маруси была ее няня, Харитина Петровна Кокарева. Худая, высокая старуха, рябая, с темным лицом и маленькими, глубоко сидящими голубыми глазами. Маруся ее обожала и всю жизнь с любовью вспоминала о ней. Помню, как малютка целовала ее веснущатые руки. Однажды девочку застали приникшей лицом к няниным полусапожкам (с широкими резинками по бокам и двумя ушками, правда, кажется, новыми). На строгое замечание оставить обувь Маруся ответила, что не целует башмаки, а нюхает, они хорошо пахнут. Жили они с няней до двух с половиной Марусиных лет очень мирно, как говорится, душа в душу. (Не то было позднее, когда у нас, младших, появилась гувернантка. Она старалась, как можно раньше уложить нас

вечером, чтобы иметь больше свободного времени. Видимо, чувствуя несправедливость, Маруся отчаянно протестовала. Помню, как фрейлейн Магда читала по вечерам свой дневник старшей сестре, который иногда начинался словами: «Marie ist sehr kaprisisch». Маленькая (3-4 года) еще не настолько овладела немецким, чтобы слушать быстрое чтение, иначе, конечно, протест был бы адекватный.)

Харитина Петровна, как я припоминаю, была совершенно темной старухой. Она сильно окала, как все уроженцы Ярославской губернии; речь ее изобиловала простонародными словами. Она говорила, например: «не трожь», «глянь», «умоюсе» и т.д. Так же повторяла за ней и ее воспитанница. Почему же наша мать, подыскивая няню для младшей дочери, остановила выбор на старой неграмотной женщине? Наиболее вероятное объяснение этому – гибель третьего сына родителей, Шуры, от безалаберности молодой няньки. Очевидно, мать, нанимая пожилую женщину, наказала беречь ребенка от всяких контактов. Х.П. выполняла мамин приказ, может быть, слишком буквально: она никого не подпускала к малютке, даже Лелю, старшую сестру и крестную мать. Впрочем, для нее она раз или два делала отступления от этого правила – когда Леля обещала устроить Марусе и ей балетное представление. Для этого няне приходилось взбираться с ребенком на руках по крутой винтовой лестнице в комнату братьев (подальше от материнских глаз). Помещение выходило окнами на восток, на Волгу. Длинный, узкий балкон изображал сцену; на пороге стоял стул – партер, где сидела Харитина Петровна с Марусей на руках. Леля одновременно исполняла и роль балерины, и оркестра, напевая танцевальный мотив. Танцевать же она любила и умела. Маруся сидела на коленях няни не шелохнувшись, как завороженная, и впитывала в себя это необычное зрелище, которое, наверно, представлялось ей прекрасным. По окончании восхищенные зрители (их было всего двое) осыпали исполнительницу ветками с рябиновыми ягодами. Рвать цветы из сада для этой цели няня, конечно, не отваживалась. Мы, т.е. братья и я, занимались в то время чем-то на противоположном конце большой комнаты, не обращая внимания на спектакль.

Меня Х.П. сразу же невзлюбила из-за моей чрезмерной веселости и буйной резвости. Она не подпускала меня к сестренке на расстояние и пяти шагов. Припоминаю один полукомический случай. Нам с Марусей шили обыкновенно одинаковые «туалеты», но няня одевала малютку в старенькие застиранные бумазейные платьица (помню два желтоватых с розовым горошком), а потом, торжествуя, говорила: «Вот у Марусеньки платьица новенькие. А Катя свои все поизносила».

Гувернантки в то время около меня не было. Наша дорогая фр. Ида, скопив тысячу рублей на приданое, уехала к своему жениху. Леля была уже взрослая «барышня», а старшие братья с большой неохотой и лишь крайне редко принимали меня в свои мальчишечьи игры, но и это обычно заканчивалось моим громким ревом. Так и пробыла я в раннем детском одиночестве два с половиной года.

Так как я начала говорить о себе, то расскажу об одном эпизоде тех лет, на взгляд, и незначительном, но достаточно сильно отразившемся на моем характере. Как уже говорилось, Х.П. не подпускала меня к Марусе и я, естественно, тянулась к братьям, которые были старше меня и которым мои просьбы принять меня в их игры просто докучали. Думаю, что именно поэтому они, например, чтобы отвязаться, заставляли меня таскать санки в гору после того, как мы скатывались вниз. Я считала это несправедливым и свой протест выражала громким плачем. Так повторялось каждый раз, т.е. совместный спуск на санках с горы и мой рев. Наконец, сторож у ворот, ведущих к Волге, до которых докатывались санки, сказал: «Что это она все плачет? Верно, это не родная дочка у Сергея Алексеевича». Как глубоко запали в меня эти слова! Я в каждом случае искала подтверждение того, что сказал сторож. Я прибегала к «хитрым» (с моей точки зрения) приемам, чтобы выведать истину. Помню, например, спрашивала бабушку: была ли она у нас, когда рождались Леля, Коля, Володя. «Да, была», – отвечала она. – «А когда я рождалась, ты тоже была?» – «Нет, тогда не была», – отвечала бабушка, не подозревая моего умысла. И это, конечно, совершенно утвердило меня в том, что я «приемыш».

Поэтому моим недостатком в детстве была крайняя обидчивость, и глаза мои всегда находились «на мокром месте», и ласковое отношению к Марусе окружающих, как к самой маленькой и прелестной, я тоже объясняла все тем же. Так сказанные сторожем бездумные слова стали для моей детской души глубокой травмой, от которой я избавилась далеко не сразу.

Во времена нашего детства, да и позднее, я не припомню разговоров старших о том, когда, т.е. в каком возрасте формируется человек. Теперь это стало предметом пристального изучения психологов, педагогов, врачей-педиатров. Высказывается мнение, что индивидуальность ребенка складывается к пяти годам. Меня же всегда удивляло, что черты, ставшие впоследствии основными в характере Маруси, появились у нее еще раньше, гораздо раньше. Постараюсь вспомнить и записать некоторые наиболее яркие случаи ее детства, сквозь которое просвечивала ее будущая личность.

На одном детском празднике кому-то пришло в голову поставить Марусю на высокую тумбу из-под пальмы. Вокруг нее образовался хоровод, который стал кружиться, напевая: «Куколка, куколка, маленькая куколка. Куколка, куколка, миленькая куколка». Как сейчас вижу личико сестренки, на котором написано неподдельное смущение.

В день именин Лели (12 июля ст.ст.) приглашалась молодежь. Леля прогуливалась по двору с двумя поклонниками-гимназистами (одного помню, звали Николай Добржинский). Дверь парадного крыльца отворилась и на пороге возникла прелестная девчушка лет 4-х в кружевном платьице, с бантом на голове. Она начала спускаться по невысокой лестнице с широкими ступеньками, ставя на каждую ступень обе ножки. Преодолев это препятствие, Маруся двинулась по направлению к садовой калитке. Коля оставил именинницу и подбежал к малютке, начав ласково разговаривать с ней, и даже попытался погладить по головке. Маруся с гордым видом отстранилась и, пожав плечиками, сказала: «Не тронь мои кудри-локоны». Ее фраза не могла не вызвать веселой улыбки, а она с серьезным видом направилась к намеченной цели в сад.

Вот один забавный эпизод, относящийся к весне 1910-1911 года. Первый день Пасхи. В зале во всю длину поставлен стол со всевозможными яствами. Непременные гиацинты источают свой изумительный аромат. Ждем из Норского посада последовательного появления четырех священников с торжественными молебнами. Вдруг до слуха мамы доносятся из зала какие-то странные звуки. Она торопливо вбегает и видит, как маленькая Маруся, сумевшая взобраться на стол, доползла до большого блюда с густо проросшим овсом, на зелени которого ярко выделялись разноцветные пасхальные яйца, и бросает их на пол одно за другим. «Что ты делаешь?» – воскликнула мать. – «Шарики кидаю», – последовало невозмутимое объяснение.

Харитина Петровна много и подолгу гуляла со своей питомицей. Четко представляю длинную фигуру няни, держащую за ручку крохотную Марусю. Они еле-еле двигаются по деревянным тротуарам Норского, по набережной реки, по нашему саду с его обилием цветов. О чем размышляла старая женщина во время этих прогулок, трудно сказать, а Маруся жадно впитывала мир: и могучую Волгу, и редких прохожих, и красоту окружающей природы. Теперь я иногда думаю, что та медлительность, которая была свойственна Марусе во всю последующую жизнь, могла быть заложена в нее во время этих неторопливых и длительных прогулок. Они же способствовали развитию в ней задумчивой созерцательности и наблюдательности (о которой позже).

Расскажу об эпизоде, послужившем причиной удаления няни. Ярко запомнилось возмущение родителей, когда Харитина Петровна при встрече с механиком фабрики, надменным польским паном Станиславом Адольфовичем Нетыксой (кстати, у Ариши есть его фотография), заставила малютку низко поклониться ему со словами «Здравствуйте, барин-батюшка». Думаю, что на этом случае и закончилось пребывание Х.П. в нашем доме. Для родителей этот эпизод был неприятен еще и тем, что отношения со Ст. Ад. были натянутыми. Нетыкса никогда не бывал у нас даже с официальным визитом, а его жена – крайне редко. Как сквозь сон, слышу плач Маруси при расставании с няней.

Наша дружба и близость с Марусей, продолжавшаяся всю жизнь, началась после того, как она освободилась от няниной опеки. Сменявшие Х.П. гувернантки (почти все – молоденькие прибалтийские немки) были, наверно, только довольны, что, прозанимавшись с нами положенное время, погуляв вне территории нашего участка – обычно это были прогулки по высокой набережной Волги – они могли беспрепятственно заниматься рукоделием, или бесконечными разговорами на немецком языке с Лелей, которая была почти что их ровесница. Читали они нам сказки Гримма, Андерсена, Перро, где главными действующими персонажами были принцессы, принцы, золушки, а конец был всегда счастливым.

Освободившись от внимания гувернанток, мы начинали наши бесконечные игры, стараясь лишь не шуметь, чтобы не привлекать внимания взрослых. Одним из наших любимых и, конечно, запрещенных развлечений было, как я уже писала ранее, катание на перилах лестницы из комнаты братьев в столовую. Зимой очень любили игры в переодевания, базой для них служил сундук, стоявший в гардеробной, со всякими отслужившими свой век маминым и Лелиными туалетами. Попросив разрешения у мамы, мы открывали его и вытаскивали то, что подходило для задуманных игр-представлений. Чаще всего в них участвовали персонажи сказок, преимущественно немецких. Маруся была «Красной шапочкой», или принцессой, или госпожой; мне приходилось перевоплощаться из волка в бабушку, или же из колдуньи в рыцаря, или же в верного слугу. Было у нас «либретто» балета, называвшегося без затей «Девочка и бабочка». Составленные с подоконников несколько горшков с цветами изображали цветущий сад. Я же – бабочка – «порхала» среди них, а Маруся с сачком в руках преследовала меня. Кончалось это представление тем, что Маруся накрывала меня сачком, а я падала и замирала. Присутствие зрителей было необязательно, хотя и желательно.

Очень мы любили «экспедиции» в кухню и нежилые помещения: чуланчики, кладовые, погреб, сеновал, где всегда находилось что-либо интересное. И особенно – на огромном чердаке нашего дома, где были свалены различные старые, отслужившие свой век вещи. О нем Маруся написала стихотворение «Чердак», посвященное мне. Мы стремились навещать наших домашних животных, в частности, поросят Максимку и Матрешку, которым придавали антропоморфные черты, сочиняя им забавные приключения.

Летом же мы все время пропадали в саду и на крокетной площадке. Там у нас было бесконечное количество всяких занятий: мы играли в классы, серсо, воланы, качели и обручи, строили себе домик из ящиков. А в часы, когда садовник Николай Андрианович уходил на обед, совершали (даже с гувернантками) – налеты на ягодные кусты: крыжовник, малину или же клубнику. Если же Ник. Андр. заставал нас, то ворчал на нас своим глухим басом и грозил пожаловаться мамаше. Зато как сияло удовольствием его лицо, когда он нес маме плоды своих трудов – полные решета спелых ягод или вишен.

*Наша Маша*

Больше всего мы, особенно Маруся, стремились проникнуть в нашу просторную кухню, где среди начищенных до самого яркого блеска медных кастрюль (стоявших по «ранжиру» – от огромной до самой маленькой) – царила наша Маша (Мария Александровна Палисадова), которую мы обе очень любили. Высокого роста, немного полноватая, статная, с крупными чертами крестьянского лица, выражавшего всегда особенную доброту и приветливость. С нами обеими она была чрезвычайно ласкова.

Одевалась Маша, строго следуя деревенской моде того времени, так: длинная по щиколотку юбка в сборку, кофта навыпуск и обязательный фартук. Когда по большим праздникам она ходила в церковь, то надевала черный плисовый жакет, вроде казакина, стянутого в талии с крупными складками сзади. На голове – белый, туго накрахмаленный

платок, завязанные концы которого торчали горизонтально. А на лице – торжественное, строгое выражение.

К своим обязанностям Маша относилась добросовестно до чрезвычайности. Когда приходилось готовить какое-нибудь новое или замысловатое кушанье, или ожидались особо почетные гости, Маша страшно волновалась. Зато как сияло ее лицо, если отец, обычно через горничную, передавал ей похвалу и благодарность за вкусно изготовленное блюдо (и как мы с Марусей радовались при этом).

Работать ей приходилось много: надо было накормить одиннадцать человек (семь – наша семья, плюс четыре-пять человек прислуги). Кучер, садовник и хожалый (нечто вроде папиного лакея) питались у себя. К утреннему чаю нас почти всегда ожидало какое-нибудь горячее изделие из дрожжевого теста: лепешки, сочни, пирожки с разными начинками, ватрушки, обливашки. Все это было до чрезвычайности вкусно. К двенадцати часам готовился обед из трех или четырех блюд. Довольно часто бывали котлеты, получавшиеся у Маши особенно удачно. В начале пятого – чай, обычно с печеньем, или бутербродами со швейцарским сыром. В восемь – ужин из двух блюд, а по субботам обязательно пельмени. После ужина, как и после обеда, дети пили молоко. Вечером мама с Машей обсуждали меню на завтрашний день, стараясь, чтобы оно было разнообразным.

Помню, как по просьбе Маши мы писали ей письма в деревню, к брату и его семье, с неизбежными поклонами по порядку всей родне. И адрес запомнился: полустанок Маслово, деревня Качабурово.

Маша прожила у нас десять лет (с 1908 по 1918 год), т.е. до того дня, когда мама с Марусей и со мной уехала с фабрики осенью 1918 года в Норский посад к бабушке. Отец и старшие дети были тогда уже в Москве. Во время первого голода, в 1919 году Марусю отвезли на лето к Маше на поправку. Вернулась она от нее загоревшей, поздоровевшей, с большим запасом новых деревенских впечатлений. Помню, как она с увлеченьем рассказывала о том, как вместе с Машей жала рожь.

А совсем недавно узнала от старшей сестры еще одно доказательство Машиной необыкновенной доброты. Оказалось, что она помогала Леле в переписке с влюбленным молодым человеком, пряча его письма под огромную глиняную квашню, стоявшую на высокой полке в помещении для мойки посуды. Надо сказать, что Маша при этом очень рисковала навлечь на себя большое неудовольствие мамы, если бы ее участие в переписке раскрылось.

*«Мальчик»*

Очень любила Маруся нашу старую собачонку «Мальчика», который появился в нашей семье вскоре после женитьбы родителей и прожил до осени 1918 года, т.е. до глубокой старости. Это была небольшая собака-крысоловка, черная, как уголь, но с седевшей с годами острой мордочкой, которую Маруся украдкой целовала. Обычно Мальчик проводил время на кухне, где лежал против русской печки под часами с гирей, на голубом тюфячке, который мы ему сшили. Рядом стояла копилка в виде пня с сидящей на нем собачонкой. В нее мы с Марусей опускали изредка попадавшие в наши руки серебряные монетки. Через какое-то время содержимое копилки высыпалось, и на эти деньги мы покупали Мальчику то ошейник, то бубенчик, то ленточку; словом, вещи, ему, старичку, совсем не нужные.

Крыс в нашем доме не водилось, так что «работы» у Мальчика не было. Наша Маша по своей доброте хорошо относилась к нему, но была очень против Марусиных поцелуев: «Ну что ты, Марусенька, пса-то целуешь!»

Запомнился неоднократно повторявшийся разговор маленькой Маруси с Машей:

– У Мальчика, Маша, скоро будут детки. Надо сшить для них еще один матрасик.

– Да Марусенька! У него не может быть щеночков! Ведь он же мальчик!

– Ах, Маша, ну как ты не понимаешь! Мальчик – это просто имя. А ты посмотри, какой у него толстенький животик. Там щеночки.

– Да Марусенька, какие щеночки! Ведь он же мальчик...

– Ах, Маша! Ведь Мальчик это только имя, его так зовут. А щеночки у него обязательно будут. Мы с Катей сошьем еще один матрасик...

Мальчик нас тоже любил, и когда мы появлялись на кухне – привставал, приветливо помахивал хвостом; причем на мордочке появлялось что-то вроде улыбки. Так, по крайней мере, мне казалось.

*О Марусиной операции*

Кажется, первой это заметила я с моим очень тонким в те годы слухом. У Маруси (ей было тогда около 3,5 лет) при выдохе вырывалось какое-то сипенье. По младости и глупости я стала использовать этот звук при игре в прятки, которая происходила обычно в зале или в гостиной. Выйдя на середину комнаты, я прислушивалась и безошибочно угадывала, куда спряталась Маруся.

Когда сипение усилилось и превратилось в шипение, которое нельзя было не заметить, мама всполошилась и повезла Марусю в Ярославль, к лучшему ларингологу С.С.Берлянду. Тот, осмотрев горлышко, сказал, что у девочки сильно разрослись гланды и необходима операция.

Вскоре после этого мама с Марусей поехали в Москву. Остановились на Мясницкой улице в четырехкомнатной квартире нашей старинной знакомой, певицы Софьи Артемьевны Дубасовой-Даниловой. При помощи Софьи Артемьевны нашли хорошего врача-специалиста. Тот после осмотра сказал: «Такая хорошенькая девочка, а гланды, как котлетки...»

Операция прошла успешно, но мама рассказывала, что Маруся долго и громко плакала (иначе, наверно, и быть не могло). Очень я обрадовалась им обеим, когда они довольные вернулись домой, навезя уйму подарков. Шипящий звук при выдохе у Маруси навсегда исчез.

Марусина наблюдательность начала проявляться в совсем ранние годы. Я вспоминаю такой пример.

Марусе четыре года. Ранним вечером мы обе стоим на широком мосту через наш овраг, невдалеке от впадения ручья в Волгу. «Вон как месяц смотрит на нас», – говорит Маруся. И действительно, он был повернут своим «профилем» в нашу сторону (конец первой четверти лунной фазы), а круглой стороной на запад.

*Андрей Алексеевич Чагин*

У нас на Норской фабрике какое-то (непродолжительное) время жил студент-практикант Андрей Алексеевич Чагин, высокий, очень некрасивый, но чрезвычайно воспитанный молодой человек. Я не помню, чтобы он обращал какое-либо внимание на нас, младших. По вечерам часто, непременно испросив каждый раз разрешения у мамы, он направлялся в залу и играл на рояли разные пьесы, довольно простенькие. Отбыв практику, он уехал в Москву. Примерно через год вернулся на фабрику (может быть, писать дипломный проект), но на этот раз остановился не у нас, а в доме для приезжающих. К нам, вернее, к маме, он пришел с визитом, парадно одетым. Мама приняла его в гостиной. Мы обе сидели тут же на длинной софе. Не помню, о чем шел разговор у старших. Внезапно Маруся (ей было года 4) подбежала к Андрею Алексеевичу и поцеловала его руку, лежавшую на колене. Он поднялся во весь свой высокий рост, низко склонился и, в свою очередь, поцеловал ее крохотную ручонку. Помню, мама была крайне сконфужена и озадачена Марусиным поступком. Я тоже была удивлена, т.к. сестренка никогда ни словом не обмолвилась о своей привязанности к студенту. Это, наверно, была ее первая, еще не осознанная влюбленность.

Очень рано проявилась в Марусе ее самостоятельность в принятии решений и их осуществлении. Однажды она, четырехлетняя, ушла тайком и направилась к бабушке, которая жила в Норском посаде в полутора-двух километрах от нас. Туда вели две дороги:

одна по набережной Волги, другая – через темный еловый лес. Какую выбрала Маруся, я не знаю, но думаю, что первую. Она застала бабушку сидящей в кресле, углубленной в чтение, с чулком и спицами в руках. Подойдя вплотную, Маруся тронула ее колено и сказала: «Я убежала...» Бабушка тут же отправила прислугу с запиской к маме, что Маруся у нее. Можно представить состояние матери, когда обнаружилось, что ее маленькая дочь исчезла – ведь Волга была в пяти минутах ходьбы от восточной границы нашего участка. Мама вызвала по телефону лошадь и привезла беглянку домой.

*Наша жизнь с Марусей*

Мы часто играли с ней в нашем большом зале, принося туда наши игрушки. Однажды среди дня отец вернулся с фабрики, очевидно, чем-то расстроенный, и мы услышали, как он громким голосом отчитывает за что-то в передней горничную. Я торопливо принялась собирать лежащие на полу игрушки, чтобы поскорее убежать в детскую, и в спешке оставила карандаш. Маленькая Маруся, заметив его, всплеснула ручонками и в волнении воскликнула: «Опади! Кадак-то!» (т.е. «Господи! Карандаш-то!»). За забытый на полу карандаш нам, конечно, ничего бы не было. Но таково было наше воспитание: мы всегда опасались вызвать неудовольствие своих родителей и особенно папы, которого в детстве побаивались, хотя очень любили.

На день рождения мне подарили «Птичий двор», т.е. в большой плоской коробке, разделенной на квадраты, лежали разные птицы: индюки, куры, утки, которые сестричка тщательно расставляла вместе со мной и рассматривала. Больше всего ей нравилась самая большая птица из этого двора: большой, белый с красными лапами и носом гусь. И вдруг она наклонилась, схватила этого гуся, прижала к груди с явным намереньем его присвоить или отдельно играть с ним, словом, узурпировала себе эту игрушку. Мы с фройлен Идой запели в лад песенку, которую знали обе – о краже гусей на немецком языке. Маруся с удивлением переводила взгляд с фройлен на меня, потом поняла, что неправильно поступила, бросила игрушку и с плачем убежала в детскую. Мы с Идой бросились за ней, начали ее уговаривать, что она неправильно понимает, как играть с птичьим двором...

Марусе было года два, когда ее повели в ее невинные, можно сказать, безгрешные года причащать в церковь. Ей дали ложечку вина, которое ей, очевидно, понравилось, и мама с ней на руках пошла назад на свое место. Вдруг она почувствовала, что с Марусей творится неладное, она делала какие-то судорожные движения горлышком. Я только видела, как мама наклонилась и у Маруси из ротика хлынула жидкость. Мама очень испугалась, потому что это как бы грешно, чтобы святое вино вышло обратно. Сразу же и Марусю, и маму окружили какой-то занавеской. Маму тщательно осмотрели, но у нее на одежде ничего не было, и у Маруси тоже, лишь на полу небольшое пятнышко. Но надо было это как-то убрать. После окончания богослужения мама послала кого-то из служащих за спиртовой жидкостью, ею стали поливать лужицу и зажигать, чтобы она вся сгорела. Затем Марусю понесли домой, а ротик вытерли белоснежной тряпочкой, которую тоже сожгли. Отец Дмитрий сказал маме: «Ну, зачем нужно было носить такую крошку, разве она может нагрешить?» Мама была сконфужена, она поняла, что перестаралась, и понесла дочку к бабушке. Бабушка тоже сказала: «Фанечка, ну зачем же, это же святой младенец, он не может нагрешить, зачем же его причащать?» После этого Марусю, по-моему, даже не повезли, а понесли домой, потому что боялись, что от тряски в экипаже ей опять станет дурно.

Примерно к этому же времени (может, немного позже) произошел другой эпизод. Бабушка, Маруся и я стояли в нашей большой зале перед зеркалом, смотрели друг на друга, потом отправились в детскую. Уходя, я оглянулась и увидела, что Маруся смотрит в щель между стеной и зеркалом, как бы проверяя, не остались ли там какие-то следы нашего пребывания, или что-либо волшебное.

Вообще, волшебство играло в нашем воображении большую роль. Несколько позднее я сообщила Марусе в шутку, что у меня есть маленькие «человечки», которые приходят ко

мне по ночам и слушаются моих приказаний. Когда мы уже лежали вечером в наших кроватках, я начинала пальцами дробь по стенке и говорила Марусе: «Слышишь? Это «человечки» ко мне бегут. Я скажу им, чтобы завтра была хорошая погода». Малютка безусловно верила мне. Но вскоре эта игра прекратилась. Я попросила у мамы 20 копеек, чтобы купить Марусе шоколадный шарик, будто бы от «человечков». Мама, узнав об этой моей выдумке, запретила мне обманывать Марусю. Пришлось сказать, что «человечки» убежали.

Маруся была очень религиозна и старалась, будучи даже крошкой, соблюдать все обряды. Она любила петь песнопения и вместе с левым хором пела молитвы. Вместе с ней обычно бывала и тетка Елизавета, отвратительнейшая женщина, она больше забавлялась незнанием Маруси и со смехом рассказывала всем, как ее племянница понимает молитвы и как забавно она их произносит. Там, среди бесконечных «Господи, помилуй, Господи, помилуй» была строка «отложи попечение, отложи попечение». В полном тексте это звучало так: «Иже херувиме тайно образующий и животворящий троице приснопамятную песнь припевающий. Всякое ныне житейское отложи попечение». Когда мы шли из церкви к бабушке, Маруся озабоченно меня спросила: «А ты будешь откладывать печение, как учит церковь? Ведь нам дают по два печенья на десерт. Одно и надо откладывать». Малютка понимала эти слова так, что не надо съедать все печение, а надо часть откладывать для каких-то неясных ей душеспасительных целей. Дома ей объяснили, что надо откладывать не печение, а попечение, т.е. отложить все житейские заботы в момент молитвы, и думать только о божественном.

Как-то в гостях у этой тетушки Маруся подверглась опасности, которая могла бы привести к катастрофе. Уединившись ото всех, она вышла во двор. Внезапно из распахнутых ворот темного сарая выскочила бодливая корова и бросилась на девочку. Маруся в страхе побежала к дому, корова настигла ее и прижала к забору, но Маруся была такая тоненькая, что рога вонзились в забор по обе стороны ее тельца. Выскочившие на ее крик взрослые отогнали бодливую корову. Обессилевшую от ужаса Марусю на руках внесли в дом.

Как и многие дети, мы любили играть в «школу», где обучали наших многочисленных кукол чтению, письму и арифметике. Была среди них и первая ученица «Тамара», с двумя длинными, аккуратно заплетенными каштановыми косами. Ее антиподом, т.е. последней ученицей была «Ленка», с растрепанной светлой шевелюрой и карими глазами. Хотя родители не применяли к нам «физических методов воздействия», мы наших учеников ставили в угол и шлепали за непослушание, незнание уроков и хулиганство. «Ленке» доставалось наравне с тремя куклами-мальчишками – «Володькой», «Борькой» и «Мишкой». Один раз, после таких школьных занятий с куклами я, войдя в детскую, застала Марусю, утешающую «Ленку». Она прижимала куклу к себе, гладила ее и целовала в головку. Увидев меня, она смутилась, так как, очевидно, поняла всю «непедагогичность» своего поведения. Так в возрасте пяти лет проявилась еще одна черта ее характера – способность к сочувствию и состраданию.

Однажды Маруся и я нашли на садовой дорожке раненого стрижа. Очевидно, он налетел на что-то и разбился. Не без труда, так как он вырывался, положили птицу в картонную коробку, которую поставили на террасе в углу. Опыта по уходу за больными птицами у нас, конечно, никакого не было, пытались лишь только напоить и накормить «стриженьку», как ласково звала его Маруся, но ничего не получалось. Через несколько дней он погиб. Горько плача, мы закопали его неподалеку от нашего маленького огородика.

Во времена юности моих братьев футбол только-только начал вытеснять такие игры, как городки, лапта, бабки. Оба брата со всей пылкостью пристрастились к этой новой игре. Состязания происходили на большой площадке за нашим огородом. Коля был неизменным голкипером, а Володя – капитаном команды и первым форвардом, (так

назывались нападающие). Кто были другими форвардами, бэками и хавбэками – совершенно не помню.

На этой же площадке, превращавшейся летом в футбольное поле, а зимой – в каток, произошло событие, о котором я хочу рассказать. Летним вечером 1914 года Маруся, брат Владимир и я устроились на удобных для сидения толстых брусьях ограды этого поля. Солнце медленно погружалось за рощу, стоявшую в центре фабричного двора, окрашивая небо, как обычно, в золотисто-розовые тона. Высоко над головой повис тонкий лунный серп. Вдруг Маруся как бы неожиданно для себя, указывая на Запад, отчетливо и громко произнесла четверостишье, первое в своей жизни:

Солнце спряталось туда,
Зарождается луна.
Это в нашем вкусе,
С принцем обнимусе.

Это были безупречные по размеру хореические строчки. К моему очень горькому стыду, ни брат, ни я не поняли, что присутствуем при рождении поэта, а лишь посмеялись над грамматической неправильностью последнего слова, порожденной влиянием няни на речь Маруси; к нашему удивлению, она тотчас удалила ошибку, заменив последнюю строку на: «Еду в омнибусе». Мне сейчас представляется, что в этом моментальном исправлении текста проявился самый первый росток и ее будущего таланта переводчика и редактора. Об этом первом стихотворном опыте позднее она напишет: «Я восприняла его, как чудо, и с тех пор все началось, и мне кажется, мое отношение к возникновению стихов с тех пор не изменилось».

Едва освоив азбуку (1912-1913 гг.), Маруся принялась за Пушкина. Помню, как она стояла в гостиной перед длинной кушеткой, приходившейся ей по грудку, на которой лежал раскрытый однотомник Пушкина. По своей еще малой грамотности, она громко прочла: «О, Деле’я дорогая». Я поправила сестренку, она повторила за мной начало стихотворения и дальше продолжала до конца, ни разу не ошибившись.

В детстве мы обе – Маруся и я – вели дневники. Писали их обычно в своей «конторе Труд», т.е. за верстаком в большой комнате братьев во время их отсутствия. Но показывали написанное друг другу далеко не всегда, а лишь в минуты наибольшего расположения. Ярко запечатлелись строчки из дневника Маруси, которые она мне прочитала: «Мы играли с Катей, но потом поссорились. Первая затейница была, конечно, я». Это – запомнившееся мне проявление ее будущей самокритичности, строгости и взыскательности к себе.

Маруся и я хорошо запомнили громкий и негодующий голос отца: «Пожалуйста, не думайте, что вы, Петровых, какие-то особенные! Пожалуйста, не думайте!» Но чем было вызвано его недовольство нами, мы обе не могли вспомнить. Но, видно, было нечто, вызвавшее такую бурную реакцию. Как я думаю, это «нечто» заключалось в том, что нам – достаточно малым – наговаривали с двух сторон гувернантки и тетушки. Первые, т.е. гувернантки часто произносили: «Ich seid doch des Herren Direktors Kinder!» Оттенки были разные – чаще укоризненные, реже – тщеславные. Тетушки же с гордостью рассказывали об основании нашей фамилии Петром, разные анекдоты из его жизни, повторяли его фразу: «Неблагодарность – из всех пороков наигнуснейший». Цитировали слова Неплюева (что я узнала много позже): «Мы, его ученики, проведены им сквозь огонь и воду, инако воспитывались, инако мыслили и вели себя». Вспоминали также про бабушку – потомка угасшего рода удельных князей-рюриковичей (Сицких). Все это, конечно, впитывалось нами, откладывалось в сознании и создавало какое-то ощущение особенности, м.б., даже исключительности, которые и заметил наш умный отец.

Не знаю, как Марусе, Леле и братьям, но мне горько и дорого пришлось расплачиваться за эти качества, вернее – недостатки, так как работать после Октября мне

(пятнадцатилетней) пришлось в железнодорожном коллективе, где некоторые звали меня с насмешкой «делехторской» или же, в лучшем случае, «белой вороной», или говорили: «Уничтожим, как класс!» Во мне же были сочетания некоторой гордости (увы!) вместе с крайней застенчивостью. Меньшим пороком я считаю честолюбие, которое бывает высоким и является, в известном смысле, достоинством.

*Фрагменты воспоминаний*

А сейчас очень коротко о жизни нашей семьи после революции.

В середине 1918 года отец ушел с фабрики, остановленной из-за отсутствия топлива, и уехал в Москву к старшим детям. А мама с нами двумя переехала в Норский посад к бабушке. Жили голодно, меняли одежду на продукты, и самым вкусным, по воспоминаниям, было солоноватое печенье из картофельной шелухи. По вечерам все собирались вокруг обеденного стола и при свете коптилки, а временами и лучины, каждый занимался своим делом. Сохранилось у меня от той поры стихотворение Маруси, к которому я сочинила незатейливый мотивчик (он даже записан на ноты), который мы пели на два голоса: Маруся – первым, я – вторым.

Иду в низину скатами,
Тоска томит, тоска томит.
Нору я слышу с берега -
Журчанье, как истерика,
О камни бьется струйками.
Родная, не горюй-ка, мы
С тобою сестры в горести -
Ведь этот стих – мой горе стих.
Он берегами крепко сжат,
Стремится гневно выбежать,
Разлиться бурной речкою,
Но слабо свою речь кую.
А берега насмешливо
(Победа их) – Как смеешь, вор! -
Промолвят. Сила берега,
Журчанье, как истерика.
Тоска томит, тоска томит,
Иду в низину скатами.

В Норском посаде на базе городского училища была создана школа 2-й ступени, в которую мы обе поступили. Уровень преподаванья был крайне низок, так что я без труда дважды перескакивала через класс. У меня были математические способности, и учителя предрекали мне будущность С. Ковалевской, но – увы! – не получилось.

В 1920 году, после того, как папа перешел на авторемонтный завод, мы всей семьей переехали в Ярославль. Я в это время уже служила на товарной станции Всполье. А Маруся перешла в ярославскую среднюю школу им. Некрасова.

Мне запомнился один эпизод из жизни Маруси в это время. Тринадцатилетняя Маруся при всех твердо запретила сидящей за столом знакомой сплетничать о женщине, которую она глубоко уважала. Маме пришлось извиняться перед гостьей, а Марусе – покинуть столовую. Вот так воспитывалось в нас уважение к старшим. Нам запрещалось не только делать им замечания, но даже возражать на какие бы то ни было высказывания взрослых. (Причем в данном случае я убеждена, что мать в душе была согласна с тем, что сказала Маруся).

В школе Маруся стала увлекаться историей и написала пьесу «Жакерия» – о крестьянском восстании в период столетней войны. Директор школы прочитал пьесу и сам поставил ее на сцене, а Марусю назвал талантливой. Тогда же ею было написано стихотворение «Петроний»:

С бледным лицом и улыбкой презрительной
Тихо склонил он ресницы.
Мимо рабыни, красы удивительной,
Робкой прошли вереницей.

Вена атласная ниткою стянута,
Кровь тихо каплет на ткани.
Бледный Петроний, никем не разгаданный,
Рушит последние грани.

Кинуты тени на щеки ресницами,
Бледные, тонкие тени.
Смотрят рабыни пугливыми птицами,
Легкие, словно виденья.

В Некрасовской школе она познакомилась с тремя сестрами Саловыми. Средняя – Таня, самая красивая, вскоре покончила с собой из-за неразделенной любви к актеру Волковского театра. Марусю потрясла гибель Тани, она посвятила ей три стихотворения. Два из них как бы от имени влюбленного юноши – сила ее перевоплощения была такова, что родители Тани всерьез решили, что такой юноша существовал. Вот одно из них:

**ВИДЕНИЕ**

*Моей грезе погибшей,*
*моему счастью разбитому -*
*посвящаю Тане С., умершей 20.10.-22 г.*

Где ты, девушка, славная, милая?
Мое счастье, мой солнечный май?!
Я стою над твоею могилою...
Здесь ли ты, мой потерянный рай?
Разве счастье быть может закопано?
Разве радость быть может мертва?
Нет, не здесь ты, где глина притоптана
И сыра, равнодушна земля...
Где же ты, моя зорька прекрасная?
Где же ты, светлый отблеск ракет?
Вон какие-то тени неясные....
О, скажи, это ты или нет?
Вижу голову, томно склоненную, -
Эту тяжесть невиданных кос.
Вижу шейку, стыдливо влюбленную,
Вижу пряди роскошных волос.
Вижу лоб, беломраморный, девственный...
Вижу полные скорби глаза,
Да глаза-то какие чудесные,
В них дрожит и сверкает слеза...
Вижу брови, задумчиво-скромные,
Вижу твой подвенечный наряд,
На груди руки нежно сложенные,
Слышу дивных цветов аромат.
Я любуюсь тобой в отдалении

И тихонько, тихонько стою.
Мне так хочется встать на колени,
Но боюсь оскорбить тишину...
Долго ль я так стою?
Может – только мгновение,
Может, много часов...
Но вот шелест пронесся, и скрылось видение -
Я один средь крестов...

Старшая сестра (Маргарита Германовна) стала пожизненным ближайшим другом Маруси. Это она ввела ее в Ярославский Союз Поэтов, где почетным председателем был А.В.Луначарский. Она же познакомила совсем юную Марусю с творчеством гениального художника М.С.Сарьяна, со стихами Блока, Пастернака, Есенина. Маргариту Германовну поражало, как тонко всем своим существом Маруся воспринимала все прекрасное, относилось ли это к живописи, литературе или поэзии. Так же глубоко она умела слушать и слышать чужую радость, чужое горе.

Несколько слов о союзе поэтов, называвшемся «Ярославские понедельники». Членами его состояли, главным образом, студенты университета, и только одна Маруся была еще школьницей предпоследнего класса (тогда было девятилетнее обучение). Атмосфера союза была очень дружной и чистой. Его посещали гости из Москвы: Вс. Иванов, Г. Шенгели и другие, читавшие свои произведения. Помещался союз в Доме санитарного просвещения, а затем в каком-то клубе. Так как состав членов был невелик, то собирались иногда на квартире у М.Г. Саловой. Читали не только свои стихи, но и других поэтов. Я, например, присутствовала там, когда «Двенадцать» Блока читал Михаил Павлович Сироткин. Это он, проявив большую энергию, организовал выпуск сборника «Ярославские понедельники» (тоненькая книжка в серой обложке). Там были помещены два стихотворения Маруси – первая ее публикация.

Первое стихотворение, прочитанное Марусей в союзе, начиналось так:

Ты плюешь в мои алые губы
И в глаза, что так любят тебя.
Пред тобой мой жестокий, мой любый,
Я склоняюсь покорней стебля.

Выступала она с этими строками впервые, чтобы казаться взрослой, равной остальным. Я не была на этом вечере, но, возвращаясь домой с работы, встретила Рокицкого и Горбунова, которые со смехом рассказали мне о выступлении малютки в коротком платьице с такими взрослыми стихами. Я заставила их серьезнее посмотреть на этот факт и подчеркнула, что у Маруси особый дар перевоплощения, и все написанное предельно искренне.

Из членов союза поэтов, кроме М.Г. Саловой и М.П. Сироткина, могу назвать еще И.А. Ханаева, Ю.К. Звонникова и П.А. Грандицкого, одного из самых близких Марии Сергеевне людей в течение ее жизни.

Постепенно союз поэтов распался: многие члены по окончанию Ярославского Университета разъехались по местам работы. Маруся, приехав в Москву к родителям, вместе с Юл. Нейман и Арс. Тарковским поступила на Высшие государственные литературные курсы, Петр Алексеевич Грандицкий – в аспирантуру (РАНИОН).

Очень мне хочется, чтобы его стихотворение, посвященное Марии Сергеевне, было помещено в мои воспоминания, или, что еще лучше, напечатано отдельно.

*Посв. М.С. Петровых*

Сгущенный свет, янтарный виноград
В подвалах вековых, в глубокой тьме томят.
Чем дольше вызревает в них вино,
Тем крепче, благороднее оно.
Слова свои, сгущенный сердца свет,
В душевной глубине таишь ты много лет.
Тем благородней, крепче, тем острей
Янтарный хмель поэзии твоей.

У меня были темно-зеленые глаза. Маруся считала это некрасивым. Когда мы изредка с нею ссорились, она, сердясь на меня, говорила: «У-у, зеленоглазая», т.к. браные слова в нашем лексиконе отсутствовали. Много позже, будучи подростком, она стала посещать поэтический кружок «Ярославские понедельники». Там, по-видимому, от кого-то услышала, что это красивый цвет глаз. Тогда она (может быть, памятуя свои детские высказывания) посвятила мне стихотворение:

Как жутко глядеть мне в глаза ваши темно-зеленые,
Там тайн слишком много, но нет объяснения;
Раскрытые, ясные, жутко и странно холодные,
Без страсти и без вдохновения.
Стараюсь я тайны узнать, в глубине этих глаз схороненные,
Я страстно, безумно хочу их признания,
Но гневно сверкают зрачки оскорбленные
И гневно ресниц трепетание.
В моих же глазах, о! Я знаю, любовь разгорается,
В ресницах безумных дрожит вдохновение,
А в ваших глазах тайный смех разгорается,
Зрачки выражают презрение.
И горько я плачу, насмешками теми обиженный,
Глаза ваши темным сгубили мне сердце презрением.
И горько рыдает поэт, в своей страсти униженный,
И сдавлена грудь сожалением.
.....
.....
Но кто же поймет ваши тайны, безумно манящие,
Пробудит в зрачках вдохновение?!

Ярославль. 9.XII.1922.

*Как я чуть не уморила Марусю*

Это произошло осенью 1926 года. Родители уехали отдыхать на юг (в последний раз в своей жизни). Мы остались с Марусей вдвоем и с маленьким котенком. Петр Алексеевич работал тогда в Воронежском университете и приезжал редко. Маруся только что перенесла тяжелый грипп, была очень слабенькой и еще лежала в постели. У меня же была срочная работа – технический перевод, который у меня плохо ладился. Одновременно я, натаскав дров из сарая, затопила печку, чтобы согреть Марусину, достаточно сырую комнату. А сама лихорадочно работала, изредка помешивая кочергой горячую печь. Наконец, работа была закончена, дрова прогорели, я закрыла вьюшку, положила оставшиеся дрова у плиты и со спокойной совестью легла спать рядом с Марусей в ее широкой кровати, и сразу заснула. Среди ночи меня разбудил стон – это стонала Маруся. Я очнулась: голова раскалывалась, в ушах стоял шум. Сразу поняла, что угорела, и что угар по своей вине: закрыла заслонку (вьюшку), не перемешав хорошенько

угли, и оставив там головешку. А сама спокойно улеглась и уснула. Ощутила острейшее чувство вины: Маруся – еле поправившаяся, очень ослабевшая. Вопреки собственному скверному состоянию, я кое-как, шатаясь, дошла до печки, открыла дверцу и обнаружила чадящую головешку. Открыла задвижку и окно, Теперь надо было спасать Марусю. Я завернула ее в одеяло, подняла и – к выходной двери на улицу, точнее, на крытую каменную галерейку. Сделав несколько шагов, я потеряла сознание. Очнулась от падения прямо на дрова, Маруся лежала поперек меня. Чувство вины перед ней придало мне силы. Опять подняла Марусю и двинулась в прихожую. Сколько шагов сделала – не знаю, но очнулась снова на полу, и Маруся рядом. Наконец, отворила дверь, кое-как вытащила ее на галерейку и положила на холодный каменный пол. Сразу же сообразила, что она после болезни и что ее надо положить на матрас. Возвращаясь в нашу комнату, опять очнулась на полу, не ощутив момента потери сознания. Но, очнувшись, сразу вернулась к действительности: надо вытащить матрас и положить на него Марусю, чтобы она не заболела воспалением легких. С трудом, падая на дрова, вытащила матрас и положила на нее бесчувственную Марусю. В аптечке достала нашатырный спирт. Кое-как привела ее в чувство и сама нанюхалась его. Несмотря на тяжелое физическое состояние, мозг работал напряженно и четко. Принесла еще подушку и второе одеяло, укрыла ими Марусю и легла рядом с ней, стараясь ее согреть. Свежий воздух оказал свое действие, и сознание, хотя и не вполне, вернулось к нам.

Если бы не грызущее чувство укоров совести, что я, может быть погубила сестру, я осталась бы лежать в постели и, наверное, угорела бы до смерти, но чувство вины спасло нас обеих. Наш маленький котенок тоже выскочил на галерею. Он метался, прыгал, скакал по нашим лицам, словом, вполне оправдывал выражение «мечется, как угорелая кошка» Мы, несмотря на тяжелое состояние, смеялись над его прыжками. Я же, в своем «угарном» состоянии, построила теорию, что угар для него – «веселящий газ», потому, что его ноздри гораздо меньше наших.

Соседка ранним утром вышла на «галдарейку», как она ее называла, и страшно удивилась, увидав нас распростертыми на полу. Мы попросили ее позвонить кому-либо из знакомых. Маруся смогла вспомнить только номер телефона не слишком близкого знакомого Марка Тарловского. Он быстро приехал, вызвал врача. Мы кое-как перебрались в нашу комнату. Я помню, очень стеснялась своего неприглядного вида. Приехал врач и вызвал сестру для уколов. Сестра, молодая толстая еврейка, нас очень смешила. Сделав укол, она считала нужным читать нам лекции, выкладывая свои познания. Несмотря на слабость, мы под одеялом тихонько толкали друг друга, давясь от смеха. Все лекции начинались фразой: «Мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ...» М.Тарловский позвал к нам Юр. Конст. Звонникова (с семьей которого наши родители были знакомы по Ярославлю). Он заботился о нас, кормил, поил, приносил лекарства.

Я, как более крепкая, скоро совсем поправилась и должна была выйти на работу, унося злосчастный перевод. Маруся постепенно поправилась. Вскоре вернулись родители, от которых, помнится, мы старались это приключение скрыть, но пришла соседка и сказала: «Я только что лягнула....» И далее поведала всю историю.

*Квартира С.Б.Залесского*

Квартира, где находилась наша комната, принадлежала до революции С.Б. Залесскому о котором я уже упоминала ранее, как об архитекторе, связанном с нашим отцом делами по перестройке Норской фабрики. До Маруси в этой комнатушке жила я с 1924 года, то есть со времени моего переезда из Ярославля в Москву и до выхода замуж за В.В.Ч. С.Б.Залесский тогда предложил мне поселиться у него в порядке самоуплотнения (одно время владельцам квартир разрешалось «самоуплотняться» по своему усмотрению). Кроме меня, он отдал одну из своих комнат своему чертежнику и невестке его жены – ..... Михайловне Котовой с дочерью. Получилась настоящая коммунальная квартира, с той лишь разницей, что все проживающие были хорошие знакомые хозяев, и

коммунальные склоки поэтому полностью отсутствовали. Да, забыла сказать, что еще в одной комнате жил сын Саввы Морозова, Савва Саввич Морозов, которого в знак благодарности к его отцу содержал на своем довольствии театр, основанный Саввой Морозовым.

Семья Залесского состояла из трех человек: его, его жены и дочери Любочки – студентки архитектурного института, вышедшей замуж за композитора Льва Константиновича Книппер, племянника актрисы МХАТ О.Л. Книппер, жены А.П. Чехова, что якобы давало ее племяннику право говорить: «Мы, Чеховы!» Наша квартира находилась в доме на стыке Спиридоновки и Гранатного переулка. Парадное крыльцо (было еще и черное) выходило 2-3 ступенями прямо на тротуар. Вот тут-то и произошла встреча Маруси с Берией, потрясшая обоих. Она куда-то торопилась и, с силой распахнув входную дверь, очутилась прямо перед Берией. Оба смертельно испугались: Берия подумал, очевидно, что это покушение на его жизнь, а почему испугалась Маруся – понятно и так. Она со страху поспешила удалиться (даже в противоположную сторону от направления своего движения). А вокруг Берии сразу же образовалось несколько человек охраны. Берия жил неподалеку и по вечерам гулял по Гранатному переулку (может быть, заходил к Горькому, жившему в начале М.Никитской, от которой начиналась Спиридоновка).

Раз уж упомянула свою квартирку, то не могу не вспомнить другой случай, также повлекший недовольство и гнев архитектора. В то время я жила в этой комнатке вдвоем с Марусей. Комната была хоть и небольшая, но вмещала в себя две кровати, маленький столик и даже рояль, занимавший, пожалуй, треть ее. К Марусе часто приходили ее друзья по Литературным курсам: Юля Нейман, Володька Державин, Арсений Тарковский и еще 2-3 человека. Мы весело проводили время, но однажды сильно припозднились и вся эта шарага осталась ночевать у нас. Кто лег на стулья, кто на пол, лично я спала на рояли. И вот ночью Арсению приспичило выйти. Не очень хорошо зная расположение комнат в квартире, он на обратном пути вломился в семейную спальню Залесских, разбудил их и на вопрос Залесского: «Кто там? Что такое?» с перепугу ляпнул: «Я не один, нас много» – желая, видимо, снять с сестер подозрение в аморальном поведении. Но, конечно, утром мы получили нагоняй от хозяина квартиры. До сих пор этот случай помню не только я, но и Арсений.

*О.Э.Мандельштам*

Весной 1933 г. А.А. Ахматова и О.Э. Мандельштам почти одновременно познакомились с Марусей. Потом оба они полушутя оспаривали друг у друга первенство открытия нового талантливого поэта и прелестного человека. Осип Эмильевич почти сразу же отчаянно влюбился в Марусю. Ей он посвятил два свои серьезные стихотворения и одно шуточное. Наверно, стоит их привести здесь.

* * *

Твоим узким плечам
Под бичами краснеть.
Под бичами краснеть,
На морозе гореть.

Твоим детским рукам
Утюги поднимать.
Утюги поднимать
Да веревки вязать.

Твоим нежным ногам
По стеклу босиком.

По стеклу босиком
За кровавым песком...

Ну, а мне за тебя
Черной свечкой гореть.
Черной свечкой гореть
Да молиться не сметь.

*1933-1934*

* * *

Мастерица виноватых взоров,
Узеньких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный,
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче красный,
Этот жалкий (нежный) полумесяц губ.

Не скучай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, (Эта нежность) гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить, уснуть
Я стою у твоего порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

*1934*

## ШУТОЧНОЕ

Мария Сергеевна, мне ужасно хочется
Увидеть Вас старушкой переводчицей,
Неустанно с головой трясущейся
К народам СССР влекущейся.
И чтобы Вы без всякого предстательства
Вошли к Шенгели в кабинет Издательства
И вышли, нагруженная гостинцами -
Полурифмованными украинцами.

*1934*

А ей он был просто неприятен физически. Он был неопрятен, жена, по-видимому, не придавала этому значения и, кроме того, они всегда были как-то горделиво бедны. Ему в это время дали 2-х комнатную квартиру в Нащекинском переулке. Говорили, что они спали на полу на газетах, ими же и прикрываясь. Потом у них появились часы-ходики. Впрочем, когда к ним приехала Анна Андреевна, они смогли предоставить ей ложе, так что слухи о «газетах», может быть, были и преувеличены. Влюбленность в Марусю была чрезвычайна. Он приходил к нам на Гранатный по 3 раза в день. Прислонялся к двери, открывавшейся вовнутрь, и мы оказывались как бы взаперти. Говорил он не умолкая, часа по полтора-два. Глаза вдохновенно блестели, голова – запрокинута, говорил обо всем: о стихах, о музыке, живописи. На его фоне возникал Лев Гумилев – восемнадцатилетний юноша, очень сильно картавивший и тоже влюбленный в Марусю. А у нее в это время распадался брак с Петром Алексеевичем Грандицким и оба «ухажера», и старый (О.Э. было всего 42 года, но выглядел он старцем), и малый были ей просто в тягость. Помню один эпизод, рассказанный мне Марусей. Она была дома одна, пришел О.Э. и, сев рядом с ней на тахту, сказал: «Погладьте меня». Маруся, преодолевая нечто близкое к брезгливости, погладила его по плечу. «У меня голова есть», – сказал он обиженно. В это же время бывал у нас приятель П.А. – математик, которому тоже было 42 года, но выглядел он совершенно молодым человеком. Это нас почему-то очень смешило, особенно когда они совпадали. Левушка-Гумилевушка, тоже чувствуя безразличие к нему Маруси, очень страдал. А.Андреевна, видя это, однажды сказала: «Маруся, к чему вам этот мальчик». На что Маруся ответила: «Он совсем ни к чему, отправьте его в Ленинград». Левушка говорил сестре: «Приезжайте в Ленинград, я вам там воздвигну хвам». Безударная буква «р» ему никак не удавалась. И не только «р», а и многие другие буквы были ему неподвластны. Почему его не сводили в свое время к логопеду?! У него не было даже своей комнаты, а только отгороженная чем-то часть коридора в коммунальной квартире.

Однажды мы все (то есть я, Маруся, О.Э. и Лева) пошли в консерваторию на «Страсти» Баха. Левушка очень почтительно вел меня под руку, хотя, конечно, ему было бы приятней вести Марусю. Как же было просто тогда: захотели – и пошли в консерваторию на Баха. Никаких очередей, никакой предварительной записи. Так же было и с театральными билетами. После концерта Мандельштам очень приподнято говорил о впечатлении, которое произвел на него Бах. Это, кажется, единственный раз, когда я слушала его внимательно. А вообще говоря, речь его, хотя была почти всегда вдохновенна, но часто сумбурна и мало понятна.

В мае 1933 г. Петр Алексеевич и я провожали Марусю в Ленинград к Анне Андреевне Ахматовой. Никакой предварительной письменной, или устной договоренности не было. «Просто набралась нахальства и поехала», – говорила она потом. А.А. вообще очень настороженно относилась к посторонним, но Марусю она сразу полюбила и на всю жизнь. Остановилась Маруся в Ленинграде, в знакомой еще по Норской фабрике семье Румянцевых. Их старшая дочь, Вера Федоровна более сорока лет проработала

библиографом в библиотеке Третьяковской галереи. Она была знакома с А.А. (ей, одной из восьми других знакомых, А.А. доверила хранить в памяти свою поэму «Реквием», которую она боялась даже записать, чтобы не нашли при аресте), но к ее посредничеству Маруся не прибегла. Когда она сказала, что остановилась у Румянцевых на Невском, А.А. коротко сказала: «А, знаю».

О своей первой беседе с А.А. Маруся никогда не рассказывала. Наверно, обеих поразило сходство их поэтических интересов. Думаю, что больше всего они читали друг другу свои стихи. Через два дня А.А., вообще редко выходившая из дома, позвонила в дверь к Румянцевым и знакомство закрепилось...

*Редакция журнала сердечно благодарит Ксению Викторовну и Виктора Викторовича Чердынцевых за предоставленную возможность публикации выдержек из воспоминаний их матери, Екатерины Сергеевны.*